

18+

Какой-то Казарин  
*Экспертиза*

Роман



# Какой-то Казарин Экспертиза. Роман

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=26340184](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26340184)*

*ISBN 9785448574917*

## Аннотация

Мир меняется, но для того, чтобы его понять, нужно прежде всего разобраться в себе. Большая экспертиза может дать ответы на многие вопросы. Главный герой работает экспертом в компании, косвенно влияющей своей деятельностью на миропорядок. Он, как никто другой, должен разбираться в людях, но он тоже всего лишь человек. Чтобы понять и мир, и себя, герою предстоит пройти путь от простоты к сложности и обратно. Экспертиза помогает многое расставить по местам.

# Содержание

Экспозиция	7
Экстремум	104
Конец ознакомительного фрагмента.	157

# Экспертиза Роман

## Какой-то Казарин

© Какой-то Казарин, 2025

ISBN 978-5-4485-7491-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero





# Экспозиция

Мне повезло. Я не боюсь. Такие времена бывали и раньше. Даже в древности случались периоды без войн. В них тоже рождались дети. Они спокойно росли, учились, занимались чем-то важным и не знали, что такое страх войны, внезапная и неотвратимая потеря близких, разрушенный уклад жизни, исчезновение привычной опоры. Затем эти дети вырастали, и им продолжало везти. Кое-кому повезло больше всех – они прожили жизнь в мире, так и не узнав, что война началась, но немногим позже. Возможно, они были чем-то недовольны. Чем-то, безусловно меньшим, чем война. Или другой случай – дети, которых война сопровождала с самого рождения. Кто из них меньше боялся? Кто был больше недоволен и чем? Одно я знаю точно. Вокруг полно людей, которые живут хуже, чем я. Значит, мне повезло больше, чем им. Но мне бы не хотелось хвастаться своим положением. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я живу хорошо. Конечно, я могу пожаловаться на некоторые мелочи. Но, на фоне сказанного, это будет выглядеть, по меньшей мере, лицемерно. Если повезло – не надо жаловаться. В идеале, везение надо уметь скрывать. Настоящие герои должны быть неизвестны, тогда их геройство дольше протянет. Слава может тешить самолюбие, но она – совсем не лекарство. И, тем более, не панацея.

Раньше говорили: оказаться в нужное время в нужном месте. Либо: он достиг всего сам. Последнее мне неведомо. Честно говоря, для меня это просто смешно. Я не знаю, чего «достиг сам», а где случились обстоятельства. Но, в чем точно уверен – второе значительно превосходит первое, а значит, мне повезло. Соотношение обстоятельств к личным заслугам – для каждого своя тонкая материя. Она определяется скромностью, тщеславием, гордостью, ленью и еще кучей малозначащих слов. А то, что каждый – не дурак постараться для себя – это не новость. Но успех мало пережить, его желательно не отпускать от себя до конца своих дней. Вот, для чего нужны мозги. Чтобы оценить события в масштабе жизни, а не в масштабе недавно скомканных простыней. Поэтому я никогда не отвечаю на вопрос «когда». Это мусор моей жизни. Как и все те, кто непостижимым образом пытается задавать его снова и снова. Какая разница «когда», если последний срок – смерть. От задающих этот вопрос веет непреодолимой скукой. Они приравниваются к тем, кто принимает стимуляторы. Они схожи своей демонстративной суетой в мелочах, как будто хотят продлить свое беспокойство вечно. Им хочется, чтобы из этого состояла жизнь. Впрочем, чужие неудачи – не то, о чем нужно переживать. Если повезет всем, где тогда буду я? Как видите, я задаю вопросы «где» и «кто». Кстати, я же на них и отвечаю. В этом состоит моя работа. Она же позволяет тратить время на эти каракули.

Я обязан поддерживать свой мозг в тонусе. Я должен смотреть внутрь себя и отвечать на вопросы, содержание которых тоже объект моего поиска. Иначе говоря, я должен отвечать на вопросы, которые еще не заданы. Их задают обстоятельства. Но обстоятельства не говорят. О них можно и не знать вовсе, но я знаю и стараюсь к ним прислушиваться. Сначала нужно услышать вопрос. Это сложнее, чем на него ответить. По сути, когда он задан, ответ, скорее всего, уже готов. В чем-то это искусство, в чем-то рутина. Есть много всякого искусства, которое занимает наше время с тем, чтобы по окончании действия оглядеться вокруг и воскликнуть: «Боже, как прекрасен мир! Я был идиотом, что не видел этого раньше!» Это происходит сразу после финала, пока не хочется есть и не чувствуешь над собой чью-то власть. Но речь не об этом. Я могу воскликнуть ровно то же самое до всего того акта творчества. «Я не был идиотом, – добавлю я, – мне и так ясно, что мир прекрасен». То есть, мне не нужна чья-то слезливая подсказка. Я наслаждаюсь каждой минутой, я никуда не тороплюсь, мне приятно жить. Отсутствие суеты – это ли не доказательство того, что я люблю жизнь? Искусство я тоже люблю. Я даже готов закрыть глаза на его просветительскую составляющую, погружающую обывателя в упоительный транс непознанного – художник тоже должен на что-то жить. Мне многое нравится, а то, что не в моем вкусе – хороший фон для новых мыслей. Мне повезло. Я

не лежу в сыром окопе ночью в снегу, не дохну от голода в Африке, не вздрагиваю от плохих снов. Моя жизнь настолько проста, что может продолжаться вечно. Да и не против. Я научился не давать себе заскучать, даже когда кажется, что время стоит. В детстве я читал некоторую возвышенную литературу, и в моем воображении возник образ пронзительно мудрого старичка. Он как бы говорил: «Прислушайся к своему сердцу, и судьба сама поведет тебя...» Я слушал и так, и этак, но толку не было. Сплошное разочарование. Тогда я плюнул на все и решил просто жить. Ничего конкретного. И дело пошло на лад! Мама еще в детстве говорила, что я самый лучший. В том смысле, что сильно напрягаться не надо. Но я-то думал, надо доказать это другим! А оказалось, не стоило тратить силы, и все сложилось как-то само собой. В общем, говорю же, повезло. Мама не обманула. Тот старичок с любящими глазами... я назвал его папа Пабло. Не знаю, почему. Ему очень подошло. Этот каналья потом дал мне пару советов. Надо сказать, это были плохие советы. Я переименовал его в папу Падло. Он стал появляться реже. На его место пришли следующие. Если вынуть из моей головы все эти иногда разрывающие ее голоса, меня, наверно, и не останется вовсе. Я родился одноклеточным слизняком, приобретающим суть рядом с кем-то. Но, хоть, я и не имею своего лица, кое-что у меня имеется взамен. Я могу увидеть то, чего не видят другие – все те, кто имеет свое лицо и гордится этим.

Кому не стыдно ходить по улицам с уверенным видом, кто чувствует свою сопричастность к чему-то значительному и в этом видит свое превосходство над остальными. Может, я бы тоже хотел вот так. И это был бы выход. Но что-то мешает, какое-то неловкое знание, что все это чушь. Как будто при самом рождении кто-то прописал мне в голову это иногда гнетущее, а иногда возвеличивающее сомнение. Мне до сих пор кажется, что я виноват перед всеми, за то, что так хорошо живу. Хотя и они не лежат в окопах, и наверняка каждый считает себя лучше других. Но у них такие искренне озабоченные лица. Неужели папа Падло не подсказал им, как жить и как прислушиваться к своему сердцу? Или его советы и в этом случае оказались дурацкими? Наверно, он не дорожит репутацией. Заладил одно и то же. «Ну, как же, – говорит он, – неужели в твоей жизни не случилось так, что сразу понятно – вот оно! Сама судьба вершится прямо на глазах!» – «Конечно, бывает, – отвечаю я, – только это и без тебя ясно». Для этого, видно, и существуют пронзительные продукты многих искусств, напоминающие о прописных истинах. Но что делать мне? Мне, которому помнится о них еще до начала сеанса? Я долго искал ответ на этот вопрос и, учитывая все вышесказанное, не трудно догадаться, что он нашелся сам. Я познакомился с Олле. Олле смотрел на мир другим взглядом – таким, каким позволяло его положение. Он всегда мог предложить что-нибудь неожиданно новое, задать какой-то дикий вопрос.

Раньше я думал, человек отличается от животного тем, что способен выдавать новую информацию. Я тоже был склонен к благородству и хотел наградить человечество каким-нибудь полезным возвышающим свойством. Затем, информация, которую я выдавал, перестала казаться особенно новой. В каждом умозаключении таилась своя предыстория, а новизна заключалась в том, что на эту предысторию ложилась некая аналогия из другой области, словно замыкая разорванный круг. Получалось так, что любая идея – плагиат из увиденного вокруг. Признаться, это ничего не меняло, я не стал хуже думать, но задумался о животных еще раз. То есть, идею о новой информации я отбросил. Человек снова стал животным. Животным, способным на масштабные ассоциации. Тогда возник вопрос, что же, собственно, человек знает такого, о чем животному невдомек. Именно знает, а не умеет. Потому что одно дело использовать некоторые свойства, и совсем другое – действительно что-то знать определенно, и это знание должно накладывать отпечаток на текущую жизнь и как-то изменять ее. Тут, вновь вмешался папа Падло. Он всегда появляется вовремя и может привести в ярость. Он опять нашептал что-то про судьбу. «Хорошо, – сказал я, – только, пожалуйста, не произноси больше это дурацкое словечко, оно заезжено настолько, что уже никто точно не назовет его значения». Так изъясняются литературные герои, а можно было просто сказать «заткнись». – «Как же

мне тогда выразить себя?» – спросил этот пижон. «Можешь выражаться, как хочешь, – ответил я, заметив, что он опять пытается манипулировать мною, – только сначала дай определение судьбы». Конечно же, он начал что-то там крутить про «предначертано» и прочее. «То есть, нельзя избежать?» – спросил я. Он нехотя согласился. Я-то уже давно догадывался, что он сам не вполне представляет, о чем говорит. Иначе бы, не нужен был весь этот спектакль с таинственным шепотом. Тогда я предложил называть вещи своими именами, и, раз уж чего-то нельзя избежать, то пусть это называется неизбежностью, а не какой-то там «судьбой», непонятно что означающей. Он опять нехотя согласился. Смешно, когда кто-то пытается оказать влияние, а в итоге оказывается под влиянием сам. Так иногда поступают родители. Сначала их власть проста и прочна, но чем проще в начале, тем сложнее в конце, потому что, если не знать, из чего сложившаяся власть соткана, плести ее будет все труднее. Надо сказать, здесь папа Падло получил серьезную пробоину, и впредь его голос не был настолько уверенным. Одно дело возвышенно сообщить «судьба!» и совсем другое – «неизбежность...». Это требует какой-то дополнительной ответственности за сказанное. Какой-то математики, а не пустой осведомленности. Этот разговор помог лучше понять тот не до конца ясный момент с животными. Отличие оказалось в следующем: человек точно знает, что умрет. Собака на этот счет

не беспокоится, даже если перевидала за свою жизнь горы трупов. Дальше требовалось поставить знак «плюс» или «минус». Отношение к неизбежности должно выдавать в человеке нечто, о чем говорить либо стыдно, либо почетно. Папа Падло молчал. Теперь, когда математика размолочила торжественность, ему и вправду лучше было помолчать. Я нехотя вспомнил о нехороших человеческих качествах. Я знал, что все они не придуманы и откуда-то взялись. Видимо, иногда с человеком происходит нечто такое, что дает пищу вырастить в себе сорняки. Это «нечто» оказалось «болью». Все плохое, что может произойти, является болью. Это очевидно. Не вдаваясь в подробности, она бывает всякой. Ее предчувствие оказалось страхом. Страх оказался предчувствием! Подумать только. А я раньше думал, страх фундаментален. Получается, что «бояться» – значит «предчувствовать боль». Но что тогда значит «предчувствовать»? И что это вообще за словечко? Почему оно возникло в моих чистых рассуждениях? Я понял, что и здесь не обошлось без глупого вопроса «когда?». Если что-то предчувствуешь, вопрос, когда «что-то» случится, должен возникнуть сам собой. Вот тут-то и скрывается очередное вранье. Опять эта падловская торжественность. Я поборол и ее. Тогда «предчувствие» сменилось «ожиданием». Страх оказался ожиданием боли. Я подумал, нет ничего глупее, чем чего-то ждать. А самое глупое – это ждать смерть, что само собой означает, ее бояться. Так я избавился от папы Падло.

Он оказался простым негодяем – сначала внушил страх смерти, а потом вызвался указать пути избавления. Где-то он призывал смириться, где-то – бороться. Думаю, это зависело от настроения. Однако его интерес состоял не в том, чтобы избавить меня от страха, а в том, чтобы не потерять надо мною власть. Но я оказался смысленнее его. Как любой плохой родитель, он не ожидал, что это возможно. После, вопросы о животных потеряли актуальность, а что касается «плюса» или «минуса» неизбежности, то я посчитал так: знак означает способность эту неизбежность воспринять. Здесь я почувствовал усталость, чаще всего показывающую, что вопрос лучше пока отложить, так как он оказался более глубоким, чем виделся сначала. К тому же, удовлетворение оттого, что куча мусора упростилась до всего одного слова «неизбежность» давало мне право передохнуть. Я не умею думать специально. Для этого нужно попасть в определенное состояние, и тогда «думы» сами придут. Иногда я вижу, как некоторые люди пытаются заставить себя думать. Их отличие – озабоченное лицо. Для меня это неприятное зрелище. Оно неприятно не тем, что эти люди ничего не придумают, а тем, что в мире ничего не меняется. От этого становится невообразимо скучно. Тогда возникает мысль, можно ли изменить мир самому? Но это уже второй вопрос на фоне образовавшейся усталости. Его, пожалуй, тоже стоит отложить. Олле поступает именно так. Он умеет быть беззаботным, потому что делает

только то, что действительно нужно, причем прямо сейчас. Может быть, и он иногда устает, я этого не вижу. Когда устаю я, иногда начинает болеть голова. Это большая проблема. Я не знаю, почему она болит. Это происходит нечасто, но, все же, имеет место. Я знаю заранее, что это случится. На ее фоне все, что есть в голове, все желания и беспокойства оказываются где-то очень далеко. Она появляется на небольшом участке, допустим, где-то около глаз, потом захватывает все больше и больше и вскоре заполняет всю голову целиком. Иногда она настолько сильна, что выстрел в голову выглядит подлинным освобождением. Так может продолжаться дня три. Я не могу ходить, с трудом двигаюсь и только и жду момента, когда боль немного отпустит. Иногда можно согнуть шею так, что, кажется, боль уходит. Это продолжается минуты три. Но три минуты – лишь краткая передышка, боль не сдается, настигая снова. В сущности, время проходит в поиске положения головы относительно тела. Потом приходит сон. Он ничего не меняет. Проснувшись, можно отметить, что прошло еще немного часов, а значит, избавление стало ближе. Но мне не победить в одиночку. Тогда я обращаюсь к Кристине. Я отправляюсь к ней в абсолютном тумане, боясь лишний раз пошевелиться. Любое движение отдает в голове еще большим повышением давления. Кажется, сейчас она взорвется сама собой. Думаю, Кристина не до конца понимает, что происходит, потому что у нее

никогда не болит голова. Может быть, она принимает это за каприз, инсценировку, чтобы свидеться, не выходя из собственного мира, – но все это неважно. Я знаю – только она может избавить меня от боли. Укладываясь, я опускаю голову в ее теплые руки и закрываю глаза. Боль не уходит, но мне почему-то сразу становится легче. В какой-то момент она начинает выходить слезами, которые, как будто, очищают меня изнутри. Я рад, что Лиза не унаследовала эти приступы. Наверно, они передаются только по мужской линии. Кристина не знает, что я плачу в ее руках. Она просто лежит рядом и, скорее всего, думает о чем-то своем. Я, наконец, погружаюсь в глубокий сон, а, проснувшись, с облегчением чувствую, что пошел на поправку. Я расспрашиваю Кристину про Лизу. Какое-то время мы сидим рядом, глядя друг на друга. Мне хотелось бы дать определение любви, но оно не поддается. Любовью не может быть ни зависимость, ни способность помочь. Этот вопрос тоже находится среди отложенных, но не из-за усталости, а потому, что еще не пришло время на него ответить. Затем мы расходимся. Три потерянных дня – шок. После них всегда есть желание хорошенько подумать. Я записываю обрывки мыслей. Легко ли их записывать? Вот, она пронеслась, как порыв ветра. И что дальше? Что с этим делать? Сначала перевести в слова. Потом эти слова записать или наговорить. Допустим, я такой ловкий парень, что строчу со скоростью собственных раздумий. Это всегда

приятно – представлять себя ловким парнем с быстрыми частями тела. Вот, я начирикал парочку откровений, мелькнувших в голове за один миг. Теперь ждем. Озарение унеслось. Помню, это было великолепно, и я взбудоражен. Еще какое-то время я будоражусь дальше, по инерции. Та-ак, теперь посмотрим, что это было. Читаем. Потом еще разок. Ну, да, да, что-то в этом, конечно, есть, ...но где в тексте спряталось то вдохновение? Эй! Может, что-то не успел записать? Вот, и я говорю – язык это вранье. Вообще-то, где-то я уже слышал это. Пусть даже, это цитата, и в оригинале звучало как-то более торжественно. Пусть я не автор, но сочувствующий. Все – вранье. Все, что пишется и что говорится. Особенно, если это все со смыслом. Со смыслом – значит, осознанное вранье. Значит, специально кто-то подумал: а как бы так соврать, чтобы еще и со смыслом! В общем, все это к тому, что ничего, кроме обрывков своих мыслей я не могу предложить. Хорошо, если они сами выстроятся в ряд, но мне нет никакого интереса помогать им выстраиваться. В детстве с этим было проще. В десять лет я стал вести дневник. Не потому, что хотел прочитать его лет через тридцать и вернуться в те годы, – так, наверно, посоветовал бы папа Падло, а потому что у меня появилась серая тетрадка с пятью стопками пустых отрывных листков под обложкой. Их было штук по сто в каждой стопке. Это значит, тетрадки хватило примерно на пару лет. Она называлась «пятидневкой». То,

что я записывал, не стоит называть обрывками мыслей. Мысли еще не были настолько бесформенны, чтобы у них завелись обрывки. Я излагал события: чаще, чтобы отписаться и отбросить эту тетрадку подальше. Однажды я ее возненавидел, потом привык. Снова возненавидел, потом привык окончательно. Но, несмотря на смешанные чувства, я не мог остановиться и прекратить записи. Я должен был дописать ее до последнего листка. Когда это свершилось, тетрадка отправилась в дальний угол. Я никогда не перечитывал ее. Мама моей тетрадкой тоже не интересовалась. Верхние листки пожелтели, а некоторые даже оторвались. Пришлось прикрепить их резинками. Какое-то время она то и дело попадалась под руку, и всякий раз я не знал, что с ней делать. Вроде бы в руках два года жизни, два года дисциплинированных каракуль, но с каждым годом их ценность уменьшается, потому что в ней ничего нет, кроме каких-то там смешных детских событий. В юности эти события еще более обесценились. Затем наступило время максимализма. С этой точки зрения детство вообще виделось бесполезным периодом, наконец-то окончательно и бесповоротно преодоленным. Тетрадка пряталась то тут, то там вместе с книжками и прочими предметами того времени. Однажды пришло время избавиться от всего разом. Недолго я вертел ее в руках, выбирая между ящиком и огромным мусорным мешком. Во мне kloкотало стойкое желание освободить

пространство. Я колебался не более пяти секунд. К тому же, мешок был и без того наполнен кучей ненужного хлама. Тетрадка отправилась туда без каких-либо вариантов. Потом я вышел на улицу, прошел привычной дорожкой и выкинул все в огромный мусорный бак. Я был очень сосредоточен. Когда я пытался запихнуть в него огромный мешок, откуда-то неожиданно появился потрепанный человек немного странного вида. Мне показалось, он уже хорошенько поковырялся в баке, когда я подошел, и вот, теперь возник рядом, чтобы продолжить свои поиски. «Можно, я посмотрю ваш мешок?» – деликатно спросил он вполне приличным голосом, так, будто мы были на равных, а ковыряние в мусоре – наше общее дело. Я не посмотрел на него. Мне не хотелось, чтоб он рылся в моем дневнике и прочих бумажках. «Не надо!» – резко ответил я, стараясь запихнуть мешок как можно глубже. Он был прозрачным, и край пятидневки торчал с самого верха. Человек отошел в сторону, я не оборачиваясь, направился домой. Дело сделано. Думаю, с момента рождения, дневник пожил лет десять, а затем отправился в последний путь. Бывает, хочется просто подержать его в руках, не говоря о том, чтобы полистать и попытаться прочесть синие каракули. Почувствовать запах серой обложки и синих чернил, запах бумаги, смешавшийся с запахом пыльного шкафа. Иногда мне кажется, что вот он, где-то рядом, только подойди да возьми. И тут же можно погрузиться в то

время, когда мне десять лет. Что я думал тогда и что сейчас? Думал ли я тогда, каким стану? Не предал ли я того мальчика? Порадовался бы я тогда, увидев себя сегодня таким, а не другим? Воскликнул бы я: «Ух, ты!» или долго всматривался бы в эту худощавую фигуру и помятое лицо? Этих щемящих вопросов не возникло бы, сохрани я дневник. Я практически в точности помню содержание первого листка. Это был понедельник, третье сентября, я отправился в четвертый класс и пересказал, какие изменения произошли в школе по сравнению с предыдущим годом. Этот лист я перечитывал огромное число раз, потому что он был верхним листом слева, написанным самым аккуратным почерком. Наверно, я писал его дольше остальных, потому что начало любого дела всегда сопровождается наибольшими ожиданиями и старанием. Из наиболее значимых событий, нашедших отражение в дневнике, я вспоминаю смерть котенка одиннадцатого сентября следующего года. Я написал следующее: «Сегодня, наверно, самый грустный день в моей жизни...» И так далее. Мне было одиннадцать лет. Помню, как плакал в углу. Следующее значимое событие произошло в мае. Отец сообщил, что больше мы его не интересуем. Я написал в дневнике: «Сегодня произошло то, о чем я никогда не смогу рассказать, а если и смогу, то очень нескоро...» Это событие было менее понятным, чем смерть котенка, поэтому я переживал, скорее, глядя

на маму, а не потому, что представлял себе ее и свои перспективы. Больше ничего из дневника я вспомнить не мог, несмотря ни на какие усилия. Возможно, если прочитать его заново, я обнаружил бы огромное количество событий, указывающих на то, что у меня было очень счастливое детство, особенно летом. Но это невозможно. Вместе с окончанием дневника, детство словно бы осмотрелось, неловко потопталось на месте и, все более притесняемое юношеской суетой, видимо окончательно сошло на нет, когда лет в двадцать я собственноручно отнес дневник на помойку. Чтобы спохватиться и взгрустнуть по этому поводу понадобилось значительное время. Иногда я представляю себе того человека у бачка, все-таки залезшего в мешок и порывшегося в обрывках. Вот он вытащил на поверхность пятидневку, внимательно осмотрел, шелкнув листами, как игральными картами, и долго держит ее в руках, удивляясь, что она целиком исписана детским почерком и потому невероятно вспухла. Но что он сделал с нею после? Наверное, то же, что и я. Ему не хватило смутных сомнений, чтобы не сделать этого. Мне жаль, что дневник не дожил до того времени, когда его ценность стала для меня очевидной. Поэтому искать ответы на вопросы приходится без его помощи. Как ни странно, больше всего пищи для размышлений в этом слегка бессмысленном поиске дал человек по имени Шланг. Это случилось уже в Университете. На самом деле его фамилия

была Шланге. Но, разумеется, мы звали его Шлангом. Шланг ужасал не только своим видом и пятитомником, написанным в соавторстве с Гольманом и кем-то третьим. Это был вызывающе неопрятный дед, который никогда не смотрел в глаза и вообще относился к нам свысока, а, может, и с презрением. Он читал лекции автоматически и не любил творческие отступления. С самого начала, написав на доске огромное выражение, содержащее некоторое количество интегралов, он назвал его смыслом жизни и сообщил, что в конце курса самые дотошные студенты его постигнут. Мне показалось, что я не смогу оказаться в их числе. Хотя, виной тому отчасти служили слагаемые о Шланге легенды. Легенды о том, как проходит его экзамен, как он может промурыжить у доски несколько часов, а затем весь процесс остановить и переназначить на следующий день, потому что «время вышло». Он начитывал курс год, а в конце требовал ответа. Проводить промежуточный экзамен между семестрами он не считал необходимым, мотивируя тем, что нельзя постичь предмет частично и частично же его сдать. Начитанный объем в результате выглядел безнадежно, хотя уже через неделю лекций никто не питал по этому поводу ни малейших иллюзий. Экзамен Шланга снился мне еще лет десять после свершения. Точнее, снилось, что я ничего не знаю, а до экзамена одна ночь. Впрочем, наяву это было не менее жутко, хоть я и готовился. Шланг потратил четыре часа на предыдущего отвечающего.

Наблюдая за происходящим, я постепенно понимал, что такое докопаться до самой сути. Надо сказать в его лекциях та самая суть была далеко не на поверхности. Быть может, он думал, что она очевидна, но как будто специально прятал все глубже и глубже в дебри не всегда сходящихся рядов и интегралов. Однажды, когда я учил Лизу складывать в уме числа, я вспомнил о нем и подумал, интересно, что бы сказала мне Лиза, если б я начал не с «два плюс десять», а с записи общего вида числа, разложенного по степеням в произвольной системе счисления. Затем, я мог объявить, что в этой записи заложен смысл ее жизни, и что если она научится считать, то, возможно, постигнет его. Без особой надежды на это. Но я промолчал, и мы перешли к «три плюс десять». Потому что в моей жизни был Шланг, и я не хочу больше никого пугать. Несмотря на пугающий антураж, его экзамен был единственным, который позволялось пересдавать неограниченное количество раз. Но это с формальной точки зрения, потому что выдержать такое, к примеру, трижды мог только настоящий упырь. С каждым разом глубина докапывания Шлангом до истины возрастала. Билет состоял из трех вопросов, казавшимися игрушками по сравнению с вопросами, которые он задавал дополнительно. В сущности, билеты вообще были не нужны. Он мог поступить и проще – написать на каждом, с чего начинать, да, хоть, с погоды, а затем сразу переходить к своим вопросам. Пат Шланга – ситуация,

когда студент заканчивает обучение пусть даже на все «отлично», но в одной графе пусто. Вроде и учился, а вроде и нет. Диплом с «особой отметкой» получило несколько человек. Кто-то махнул рукой, кто-то упорно пытался досдать предмет. Лично я ненавижу интегралы и ряды. Честно говоря, я не верю, что вся эта абракадабра была нам полезна. Показать нам, что все, о чем сказано – плод необъятной работы мегасветил науки? Наказать нас за то, что он потратил кучу времени на постижение этих зарытых в бесконечные формулы истин? Наверно, у него были свои личные причины издеваться над нами. Но тогда передо мной стояла одна цель – сдать, а не копать в личности достопочтенного профессора. Что и говорить, перед экзаменом в животе началось предательское бурление. Я долго держался, пытался быть спокойным, верил в то, что занимаюсь как зверь и не трачу ни минуты впустую. Но подсознание (Шланг не выносит это слово) проявило себя. Вообще-то, мне было уже плевать, перед кем пукать. Я был готов обделаться в прямом смысле прямо на экзамене, лишь бы не в переносном. Думаю, кстати, Шланг не моргнул бы и глазом. И добавил бы что-нибудь запоминающееся, вроде «пукаешь – значит живешь». Затем я сдал. Он потратил на меня пару часов. Уверен, там не обошлось без удачи. Временами мне казалось, что отвечаю отлично, затем наступал полный провал. В таких случаях Шланг хмыкал и несколько минут сидел молча.

Это были самые страшные паузы. Я считал, в этих паузах бесполезно пытаться исправиться. Его уже не интересует продолжение. Он словно сидел и раздумывал, утопить сейчас или дать еще один шанс. По моим наблюдениям никто из тех, кто в эти тоскливые минуты открывал рот первым, не ушел с оценкой. Когда казалось, что «все», Шланг неожиданно менял тему и заходил с другой стороны. Так появлялась возможность реабилитироваться. Я ушел с «удовлетворительно», облитый позором и с пожеланием дальнейших более серьезных, но «с таким подходом маловероятных» успехов. До сих пор не пойму, что он увидел в моих ответах и почему отпустил с первого раза. В тот вечер в переполнявшем меня сладком тумане впервые заболела голова. В моей жизни это был первый приступ боли, с которой я не знал, как справиться. Боль почему-то стала следствием победы, а не поражения. В тот раз я впервые задумался о том, что это одно и то же. И что бурная радость, возможно, ничем не лучше глубокой печали, а упоительная надежда ничем не лучше горького разочарования. В сущности, как мне тогда показалось, организму все равно, какой знак стоит перед зашкаливающей эмоцией – плюс или минус. Тогда же я подумал, что это вообще хороший выход, в случае стресса ставить ему положительный знак и вдохновляться так, будто катаешься на американских горках. Оставалось только этому научиться. Лекции Шланга я так почему-то и не выбросил.

Несмотря на периодические глобальные чистки и после того, как они коснулись моего дневника. Возможно, эти лекции слегка утихомирили сопровождающий то время максимализм, и хотя разобраться в тех каракулях было еще сложнее, чем в детских, тетрадка с ними осталась жить. Я бы мог обменять ее на дневник, если бы представился такой шанс. Однажды Шланг неожиданно отвлекся от бесконечной писанины на доске, повернулся к нам и долго стоял так, близоруко вглядываясь в наши лица. Мы сидели тихо и тоже смотрели на него. «Зачем все это писать?! – громко произнес он в нависшей тишине, то ли повторяя немой вопрос аудитории, то ли решив дать нам передохнуть, – ведь, эта информация не откровение, и ее можно легко найти, переработать, выучить, разобраться в ней без моей помощи и так далее. Кстати, кто-то так и поступает, – он скользнул взглядом по пустым местам амфитеатра. – Для вас никогда не исчезнет то, что произведено лично вами. Лекции, написанные под мою диктовку, пишутся вами, а значит, становятся частично вашими лекциями. То, что написали вы сами, никогда не исчезнет. Оно появилось, есть и будет. Информацию об этом нельзя уничтожить. Она может забыться, выветриться, потеряться, потерять важность или смысл, остаться непонятой, но она уже не может исчезнуть. И именно потому, что пишете ее... вы». – Он снова замолчал. С этими словами известная истина о рукописях приобрела какой-то новый, более весомый смысл. Одно

дело – лирика и совсем другое, когда о чем-то говорит прожженный до мозга костей физик. – «Может, у него кто-то умер?» – подумал я. Шланг повернулся лицом к окну и закусил губу. Во всем происходящем было что-то новое. Ни в чем подобном прежде мы не участвовали. Какой-то неожиданный приступ неформальной близости. Он хотел продолжить, но всякий раз, когда, казалось, заговорит снова, слегка морщился и как будто возвращался к поиску новых, более удачных слов. Когда примерно половина аудитории зашуршала, он все-таки продолжил: «И еще, – сказал он заметно тише, чем в начале, – не забывайте, что мозг, это первее всего орган, который надо кормить. Кормить не просто так, а желательно сырым мясом с кровью. Иначе никакие мысли не придут вам в голову сами собой, и вам придется всю жизнь трудиться в большом неблагоприятном напряжении. – Здесь было не совсем понятно, смеяться или осмысливать. Кто-то потом нарисовал его портрет в плаще и с зубами вампира. – Долбежка! – добавил он энергично, – вот ключ хоть к какому-то пониманию. Никто ничего не придумал умнее, и с этим необходимо примириться. Но с некоторого момента мысли сами полезут в ваши головы, если будете правильно питаться и не забивать головы всякой чушью. Иногда можете проверять себя отношением к трем понятиям. Оно, поверьте, будет со временем меняться, если кому-то повезет. – Он снова оглядел аудиторию. – Первое, это миллиард. Как вы относитесь

к миллиарду неважно чего? – Кто-то засмеялся, потому что его лицо на мгновение перестало быть строгим. – О втором мы уже достаточно много говорили – это абсолютно информированный наблюдатель. И третье – это горизонт. Как вы, наверно, помните, у последнего он максимальный, а у всех остальных – как получится. Кому больше повезло, у того он дальше! Именно дальше, а не шире. Часто говорят о широте горизонта. Это не ко мне, это к вашим литераторам. Пусть они объяснят вам, как широта мысли связана с дальностью горизонта. Нас же интересует компонента понимания времени, а не обрывки энциклопедий в головах. Горизонт – это то, что роднит нас с понятием абсолютно информированного наблюдателя. Только через свой горизонт вы сможете разделять два фундаментальных начала вашей жизни – неизбежность и необратимость, ну или как многие любят говорить, случайность, хотя это и не совсем верно. Чем ближе горизонт, тем больше в вашей жизни будет необратимости, чем дальше – тем больше неизбежности. В пределе абсолютно информированного наблюдателя, как вы, наверно, помните, можно достичь состояния фундаментальной необратимости, то есть заглянуть в лицо подлинной случайности, движущей время. В нашем земном случае мы, как слабо информированные персоны, можем только мечтать об этом. Наше время течет неизмеримо быстрее, чем на самом деле, потому что наш горизонт

очень близок и в его пределах неизбежность сильно потеснена необратимостью. Но есть средство! – он сделал немного торжественную паузу. – Этой несправедливости противостоит разум. Только разум может отодвинуть границы, а, значит, замедлить собственное время. Видите, Природа сама нашла решение, осталось только им правильно воспользоваться. Да... так о чем это я...». – Он повернулся к доске, и стало ясно, что сеанс близости окончен. Признаться, я ничего не понял из того, что он сказал. Самое главное, я вообще не видел разницы между неизбежностью и необратимостью. К тому же, совсем не хотелось вообще об этом думать. И то, и другое, показалось одним и тем же, хотя слово «неизбежность» уже неоднократно посещало меня. Оно нравилось хотя бы тем, что я придушил им папу Падло с его слюнвявыми советами. Тезис о рукописях я почти сразу забыл. То, что профессор ратует за свои лекции, виделось вполне объяснимым. Сейчас я бы спросил его, где же теперь содержится информация из моего дневника? Дневник почти наверняка не сохранился физически, он сгнил, разложился на молекулы, сторел, ветер разметал его ошметки – здесь нет сомнений. Но что стало с информацией, содержащейся в нем? Похоже, никто, кроме «абсолютно информированного наблюдателя» не смог бы ответить на мой вопрос. Однако, несмотря на то, что его наличие в нашей теории постулировал сам Шланг, я не имею надежд на ответ. Но после учебы от меня ждали совсем других

ответов. Я стал экспертом. Точнее, низшим экспертным звеном в сложной иерархии. Моя работа оказалась настолько простой, насколько и непонятной. В частности, не совсем понятна была ее цель. Когда я выбирал МСЦО, мне казалось это очень интересным и перспективным. Я прошел все тестирования и получил степень психологического соответствия «отлично». Только двое с нашего отделения обнаружили стойкую склонность к аналитической работе. Подозреваю, здесь не обошлось без моего прошлого – мама не отправила меня в интернат, мотивируя свое решение отсутствием отца и чем-то еще. В результате я находился под ее влиянием гораздо дольше, чем это принято, и больше смотрел внутрь себя, нежели в окружающий мир. «Чем ты будешь заниматься?» – спросила она, когда я довольный объявил о начале работы. «О, это очень интересно, – сказал я, – мониторингом структурирования цепочек обмена!» – «Это еще что такое?» – удивилась мама. Она никогда не занималась аналитикой и верила только производственным и конкретным результатам. Я виделся ей частью производственного анклава. Вообще-то, мне не хотелось вдаваться в подробности, потому что одно дело сказать «МСЦО», а другое – пояснить, что этот самый МСЦО для меня ограничен минутным горизонтом в элементарной стационарной области пространственной сетки. Я не мог понять, зачем нужно следить за этим «структурированием», если оно организуется само, согласно

заложенным в систему конституциональным принципам. Даже если с лица Земли исчезнут все прочие эксперты и независимые наблюдатели, для «цепочек обмена» ничего не изменится, они, как структурировались определенным образом, так и продолжают. Но в любом случае, у меня появилось профессиональное занятие, чему я был невероятно рад. Мама мой оптимизм не разделила. «Это какая-то чушь, – сказала она, – а что с тобой будет дальше?» Я не знал, что со мной будет дальше. «Ну... дальше область моего наблюдения будет расширяться по сетке, горизонт экспертной оценки удаляться... Я смогу стать настоящим экспертом...» Мама пожала плечами. «Чушь какая-то... – повторила она. – Мне это не нравится». Разговор испортил настроение, но зато немного помог понять, куда я буду двигаться по мере постижения сути своей работы. Может быть, действительно, минутный горизонт сменится двухминутным или даже пятиминутным, а элементарная стометровая ячейка пространственной сетки вырастет до кубического километра? Больше на эту тему мы не общались, как и на многие другие, иногда наполнявшие мою скучноватую жизнь вдохновением. Мама чаще была погружена в себя и, как мне казалось, тихо радовалась, что я занят хоть чем-то, боясь своими расспросами испортить радужную картинку и невольно вовлечься в мои подростковые проблемы. Меж тем, мониторинг структурирования цепочек обмена обосновывался в моей

жизни, становясь привычным. Я исправно составлял отчеты и отправлял их узловому эксперту. Когда я только начал, мне сразу задали важный вопрос: «Что не так с лифтом?». Его задавали всем экспертам-новичкам. Легенда гласила – этот вопрос сможет разрешить только избранный. Мне показалось, ответа не знают даже вопрошающие. Я потратил кучу времени, чтобы претендовать на оригинальность. Все в этом чертовом лифте было нормально. Мы каждый день пользовались им, смотрели в лица друг друга, оглядывали стены и потолок. Лифт был безупречен. Сначала я высказал версию об отсутствии зеркал. Без них пассажиры сосредотачивались не на себе, а на соседях, тогда как эксперту желательно от себя не отвлекаться. Лифт тут же отделали зеркальной пленкой. Особенно смешно было смотреть наверх. Я не почувствовал, что это способствует сосредоточению. Тогда появилась заведомо нереализуемая идея, что лифт должен быть одноместным. Окончательная версия вытекала из предыдущей – лифт служит источником необратимости, так как является наиболее вероятным местом для случайных встреч. Необратимость же в нашей работе – не лучшая спутница, так как резко снижает качество экспертной оценки. Это понравилось бы Шлангу. Мои доводы признали убедительными – экспертам рекомендовали не пользоваться лифтами. Это понравилось не всем, благодаря чему во время работы у меня возник повод погружаться в себя еще

глубже. Погружение особенно удавалось во время нечастых, но длительных переходов по пожарной лестнице. Больше всего я полюбил неторопливый вечерний спуск, выводящий меня на свободу. Вне работы меня интересовали только две вещи – музыка и футбол. Это началось еще в Университете. В футбол мы играли с командами других факультетов, а музыку играли с Жоржем. Если бы не Жорж, никакой бы музыки не было. Он не имел ни слуха, ни чувства ритма, зато был одержим идеей хорошо играть и умел находить единомышленников. Так он их называл. Это были странные люди. Они появлялись, исчезали, потом появлялись снова. Кто-то пытался руководить и кричал мне: «Так! Тут бас поскромнее!». Мне это не нравилось, я считал, бас – главный инструмент. В самых светлых мечтах я представлял себе группу с двумя басистами со сверхчистым звучанием. Басисты привлекали своей кажущейся статичностью, которой противопоставлялась глубина понимания происходящего. Жорж не разделял моих взглядов, он был больше увлечен собой. Мы записали несколько убойных композиций, устроили несколько диких вечеринок и, возможно, продолжали и дальше, если бы не очередной странный человек, решивший во время нашего исполнения выпрыгнуть в окно. Больше всего я боялся, что об этом узнает мама, причем, не от меня. Жорж принимал стимуляторы, странные люди тоже. Я был с ними только по музыкальной составляющей, но с этим

прыжком она, уже и без того незначительная, сжалась до критических размеров. Пока все смотрели в окно и тупо ржали, а наиболее активная поклонница истерически рыдала и пыталась прыгнуть следом, я открыл кофр, вложил туда свое единственное пятиструнное сокровище и быстро вышел на улицу. «Куда-а?!» – заорали сверху. «Идите в жопу, мудаки! – заорал я в ответ, стараясь не смотреть на корчащегося неподалеку прыгуна. В этот момент я осознавал только то, что они не успеют спуститься, чтобы меня догнать, а тот не встанет раньше, чем через полгода. Так закончился мой активный музыкальный период. Впоследствии я больше ни с кем не играл, не разговаривал с Жоржем, а музыкальную потребность удовлетворял в одиночку, подыгрывая известным группам, звучащим из моей допотопной аппаратуры. Надо сказать, мама никогда не просила сделать «потюшке» и мужественно терпела как столь любимые мною низкие частоты, так и осознанно небесспорный вокал, которого от безысходности я перестал стесняться. Жорж не раз говорил мне тихо: «Лучше не пой!». Теперь это было неважно. Так прошло несколько необычайно серых лет. Чтобы хоть как-то скрасить томительное ожидание непонятно чего, я записался на факультативный университетский курс под названием «мировое развитие в период проблемной энергетики». Его вела недавняя выпускница с исторического отделения. И хотя сама тема не казалась особо интересной, я подумал,

что лучше проведу часть жизни в приятном обществе, тем более что вся группа оказалась преимущественно женской. Постепенно «проблемная энергетика» стала отличным фоном для завязывания беспроблемных отношений. Главной отличительной чертой исследуемого периода являлась непрекращающаяся в том или ином виде война. Эти войны были неизбежны по своей сути. Они могли быть холодными, горячими, дотлевающими или разгорающимися, но это ни в коем случае не отменяло тот факт, что они будут случаться и дальше до тех пор, пока энергетика не избавится от «проблемности». Когда «проблема» исчерпала себя и довольно быстро растворилась в воздухе, а ее место тут же заняла дышащая ей в спину проблема территорий, закончился наш курс. Постепенно вникая в суть прошлых взаимоотношений, я стал всерьез бояться войны, особенно в той ее части, где еще не убивали, но уже всюю подчиняли друг друга своей воле. Я и не думал, что информационное насилие может быть таким беспощадным. Мне даже показалось, что правильнее было бы именовать то время «периодом борьбы за влияние», что я как-то и предложил нашей уважаемой лекторше. На самом деле, естественно, мне было начихать, как называется ее курс, мне, просто, хотелось, чтобы она заметила меня и хотя бы начала идентифицировать в общей массе, но метод оказался неудачным. Она восприняла сказанное как вызов. Я выслушал долгую речь по поводу того, что вторично, а что

первично, разными путями адресующую меня прочь от тела преподавателя. В основном эти пути сходились в районе ее диссертации, иногда диплома, а иногда вообще за пределами Университета. Мне показалось, ей с самого начала не понравилось, что я ходил на ее курс. Зато у меня были отличные подружки. Правда, когда курс закончился, эти отношения тоже как-то сами собой перестали складываться. В общем-то, я не придавал им большого значения, но они определенно скрашивали мою абсолютно серую жизнь. Ничего не изменилось и по окончании учебы. Однажды очередная подруга заявила мне, что я полный урод, и мы не будем больше встречаться. Маме она нравилась. Вообще-то, мне было наплевать, но стало почему-то обидно. Мне и самому казалось, что жизнь идет как-то не так. Не помню как, но, распереживавшись, я оказался на берегу моря. Песчаный берег – главная составляющая моего детства. Каждое лето мы отправлялись в Сен-Хунгер, пока он не превратился в маленький смысл жизни, засевший где-то в глубине мыслей, вобрав в себя лучших друзей, лучшие впечатления и стойкое желание жить ради следующего лета. Берег, где оказался я на этот раз, был далек от Сен-Хунгера, он, просто, был ближайшим, насколько это возможно. Здесь, оглядевшись, чтобы никого не было рядом, я уселся на оголенные корни нависшей над берегом сосны, прислонился к ее шершавому стволу и стал думать, почему мне так паршиво. Потом я в который раз вспомнил детство,

отца, людей, связанных с ним и исчезнувших из моей жизни таким же непостижимым образом, как и он. Я понял, что совершенно никого не люблю и даже не знаю, способен ли на это. Я понял, что не представляю, что такое дети и не вижу ни единого шанса стать отцом самому, к тому же мне этого совершенно не хочется. И еще я понял, что абсолютно никому не нужен, меня никто никуда не зовет и мне некого позвать. Мне показалось, я совсем один на этой бесполезной Земле. Никому не нужный, сижу под сосной, и даже мама, если, допустим, я расскажу ей о своих чувствах, скорее всего, скажет: «Это пройдет, потому что это чушь!». Я включил себе какую-то музыку и под нее заплакал. Плакал я очень искренне и даже почувствовал облегчение, как обычно переходящее в новую надежду. Я встал и поплелся вдоль берега. Погода по сравнению с утром налаживалась, кое-кто купался. Понемногу перестав всхлипывать, я подумал, что могу идти очень долго, а если надо будет, то заночую прямо здесь. Если раньше я беспокоился о том, что будет, и переживал о том, что было, то теперь, вдруг, все это куда-то делось, и внутри появилась приятная легкость. Я почувствовал свободу, стал оглядываться по сторонам, выпрямил плечи и уже практически решил дойти до маячившего у самого горизонта мыса, когда из воды почти мне навстречу вышла девушка с мокрыми волосами. Собственно, ее мокрые волосы были единственным, на что я успел обратить внимание, и мне это сразу понравилось.

«Как водичка?» – машинально спросил я, потому что ее появление было неожиданным, а иначе бы наверняка промолчал. Это была Кристина. Так моя жизнь внезапно изменилась к лучшему. Оказалось, что ни музыка, ни футбол не хотят соседствовать с этим «лучшим». Они сбежали в ту же минуту. У Кристины были отличные друзья – интернатская компания, в которой я порой чувствовал себя совсем неуютно. Наверно, так чувствует себя павлин в стае диких гусей. Однажды я окончательно поверил в то, что мама ошиблась, не отправив меня в интернат при первых признаках самостоятельности. Они умели разговаривать, а я умел только глупо улыбаться и ржать над их шутками. Иногда я рассказывал о своей работе. Внимательнее всех меня слушал Олле. Собственно, он был единственным, кого мои рассказы хоть немного интересовали. Время от времени он задавал вопросы о цепочках обмена и даже спрашивал мое мнение относительно некоторых особенностей их структурирования. Я пытался отвечать обстоятельно, они требовали новых подробностей. Эти гуси знали, что я не сильно владею темой. Их главным развлечением было добиться от меня какого-нибудь спорного вывода, а затем своими дурацкими, но, надо признать, чертовски умными и провокационными вопросами, завести в тупик и превратить мои выводы в полную чепуху. Причем, сделать это так, чтобы я в своих ответах столкнулся со своими выводами сам. Они визжали от счастья, когда я

начинал махать руками и орать, что «совсем не это имел в виду!». Больше всего меня поражала их способность бегло разбираться в том, в чем я разбираюсь с трудом и только на работе. Короче, я решил больше не быть павлином и начал превращаться в гуся. Такого же дикого, как они. Если на работе происходили какие-нибудь события – мне было что рассказать. Никаких других тем я предложить не мог. Однажды передо мной забрезжила возможность стать узловым экспертом. Это нормально, особенно, если работаешь уже два года. Первый и самый трудный шаг к свободе. Узловой эксперт работает без места и без графика – считается, он способен самоорганизоваться. Сначала я прошел незабываемый тест на ассоциативность экспертной оценки. Перед тестом я съел шоколадку и запил ее чаем с лимоном и сахаром. Мне показалось это своевременным. Затем я спокойно сел за стол, получил этот огромный журнал и перемолол бесконечные задачки, умудрившись не выйти за рамки отпущенного времени. Я сделал это в два прохода, на первом пропуская особо сложные, и добывая их на втором. Никто не прошел тест целиком, кроме меня, хоть это и не требовалось. Надо сказать, в тот момент я ощущал невероятную чистоту мышления и абсолютную концентрацию. Для меня перестало существовать все вокруг, и только сладкий привкус во рту, возвращал к реальности. Я вышел оттуда победителем и был готов решать еще и еще. Потом

в висках начало постреливать. Следующие три дня я провел в полуобморочном состоянии, потому что случился второй приступ с тех пор, как мне поддалась программа Шланга. Но я был уже с Кристиной. В тот вечер она впервые взяла мою голову в руки, и мне показалось, что в этом есть определенное спасение. Иногда она отвлекалась на плач Лизы и ненадолго отходила, но даже тогда для меня, обреченно глядящего в пустую точку на стене, ничего не существовало вокруг, кроме этих ладоней и сладкого понимания того, что я уже не один. В этом и было огромное отличие от того, первого раза, и именно это доказывало, что в моей жизни с тех пор действительно что-то изменилось в лучшую сторону. Простое доказательство сложилось в момент, когда абсолютно все вокруг от боли потеряло смысл, а осталось нечто неизмеримо важное, благодаря чему можно преодолеть страх, что боль не отступит скоро. Когда боль, наконец, уходит, кажется, часть мозга умерла. В голову не приходят мысли, чувствуешь себя растением. Постепенно растение оживает как после обильного полива. Мозг возвращается в привычное состояние. Меня уже ждут для второго теста. Точнее, это, просто, беседа. «Признаюсь, ваш результат очень удивил, – сказал немолодой человек с бородкой, – ...успеть дойти до конца...» – «А были ошибки?» – спросил я с подлинным интересом. Я действительно верил, что это возможно. «Ошибки, конечно, были, – ответил он, – но сам факт... Может быть, вы раньше

занимались составлением этих тестов?» Тут, надо сказать, он меня просто оскорбил. Мне и в голову не пришло, что мои результаты можно трактовать таким гадким образом. Я не нашелся, что ответить, сказал только, что если надо – могу повторить. «Не надо, – сказал он, – лучше я задам еще несколько вопросов». И задал. Это были простые вопросы, они касались работы и, конечно же, цепочек обмена. В частности, он поинтересовался, как я сдал эволюционную физику. Я ответил, что хвастаться особо не чем, но, по крайней мере, это произошло с первого раза. Воспоминания о Шланге и, как следствие, своей несостоятельности немного притушили мое оскорбленное самолюбие. Потом я долго описывал свои взгляды, пытаюсь обосновать их и с точки зрения подзабытой науки, но внезапно заметил, что он зевнул. Хотя мне еще было, что сказать, я поспешил замолчать. Он долго устало смотрел на меня, потом встал, походил взад-вперед и затем навис над столом, упершись в него кулаками. «Нет, – четко сказал он, – вы не подходите!» – «То есть...» – возмутился я. «Я не всегда поясняю, – добавил он, – но в вашем случае, учитывая результаты тестирования... позволю себе личную оценку... чтобы не тратить ваше время..., – он помолчал, я, не шевелясь, смотрел на него, – вы сможете быть и, скорее всего, будете большим экспертом, – произнес он уверенно, – но позже. И я даже знаю когда». – «Когда?» – спросил я отрешенно. Этот вопрос был, безусловно,

огромной ошибкой. Настоящий эксперт не должен задавать такого вопроса. Он удовлетворенно хмыкнул, как будто окончательно утвердившись в своем диагнозе, и ответил: «Когда вам перестанет хотеться секса каждый день». Это могло показаться шуткой, но он говорил как врач, а не шутник. «В каком смысле?» – спросил я, до сих пор не совсем понимая, что происходит. «В прямом!» – сказал он также добродушно, но твердо. «Но тогда получается, – начал я, – что этого вообще не произойдет?» Тут он немного усмехнулся. Видимо, я говорил так искренне, что он вспомнил себя в моем возрасте. «Если так, – продолжал он, – беспокоиться не о чем в любом случае». Тут он выпрямился, и я понял, что можно идти. Я вышел весьма опечаленным. Мне так надоели эти бесконечные отчеты. Единственным плюсом из всего происшедшего я видел только отличную возможность рассказать обо всем друзьям. Вот они поржут! И Олле действительно смеялся. И все остальные вместе с ним. И Кристина тоже. И я. Так прошло много времени. Пока мы смеялись, мой горизонт отодвинулся до пяти минут, потом до пятнадцати, затем добрался до часа и не остановился. При этом обещанная Шлангом «широта мысли» давала о себе знать не слишком настойчиво. За мной даже закрепилась слава человека имеющего способность хорошо пошутить, но с большим опозданием. На самом деле, это свидетельствовало о неправильной работе моего ассоциативного аппарата – я находил решение, но оно

являлось ко мне не в естественных условиях, а в результате впадения в некий транс. На это требовалось время. То есть, я не был мастером экспромта. С другой стороны, время в работе настоящего эксперта не играет роли, никто не посмел бы задать мне вопрос «когда», поэтому я не беспокоился. Я мечтал о свободе узлового эксперта. Но зачем нужна эта свобода? Что я буду с ней делать? И верно ли то, что самое важное в жизни это получить свободу вовремя? Если получить ее раньше, чем нужно – не сможешь полностью оценить, а, значит, полностью использовать. Если позже – на это уже не хватит ни сил, ни желания. Свобода – дар, имеющий четкое время и место. Иначе он бесполезен. Свободен ли я сейчас, сидя на высохшем дереве, занесенном белым морским песком? Его унесло с одного из многих подмытых берегов, с которых сосны нависают над водой, оголяя свои корни. Зима заковывает их льдом, а весенний паводок снова и снова вымывает песок из растущих пещер. Очередной весной одна из сосен упадет и унесется в море. Иголки расплывутся в разные стороны, затем сгниет и отвалится кора. Соленая вода насквозь пропитает ствол, когда, наконец, он достигнет нового берега. Все лето прибой, не отпуская, будет крутить его около суши. Затем осенний шторм все-таки выбросит на песок, где уже не достанет никакой прилив. Солнце высушит до самой сердцевины, жучки проделают сотни черных дырочек, ведущих внутрь. Пока ветер, превращая

в якоря, заносит песком часть корней и ветвей, отесанный белый ствол, прогреваясь, наберет прочность и попробует прожить жизнь камня. Он теплее песка, несмотря на еще слабое солнце, поэтому на нем так приятно сидеть. Вряд ли Олле выбрал бы это место – он видел гораздо больше, чем я. Но, думаю, ему интересно. Мне, конечно же, повезло, что я могу сидеть на высохшем дереве и просто думать об этом. Может быть, пока его нет, позвонить Лизе?

– Лиза, привет!

– Ой, папа...

– Как твои дела?

– Отлично, папа, где это ты?

– Звоню специально, тебе показать. Смотри! – Я медленно обвожу вокруг рукой. Лиза куда-то спешит, ее лицо прыгает.

– Здорово.

– Меня какое-то время не будет.

– А-а.

– Это связано с работой. – Черт, как это вообще можно объяснить.

– Долго?

– Не знаю точно. Мы не сможем связываться.

– Ничего себе. Пап, давай потом созвонимся, у меня сейчас тут...

– Давай... – Я посмотрел вдоль берега. Олле еще нет. Лиза уже совсем взрослая. Давно не видел ее рядом. Она – то там, то здесь, то где-то далеко. Может, надо было родить еще

детей?

– Кристина...

– Привет.

– Мы обо всем договорились, я беру эту работу. Вот, сижу, жду Олле.

– Поздравляю. Как твои дела?

– Мне кажется, хорошо. Смотри. – Я снова обвожу рукой пространство.

– Понятно.

– А как твои?

– Мои – отлично. Это что, Сен-Хунгер?

– Почти. Похоже, поэтому я и выбрал. Смотри – маяк! – Я перегибаюсь через ствол, вытягивая руку в другую сторону.

– Ну, понятно... – Кристина хмыкает, она относится к Олле и его проектам скептически.

– Вы не сможете звонить и писать мне, – говорю я.

– Это вы с Олле придумали?

– Почему «придумали»... Обычная работа. Я должен погрузиться в нее полностью.

– Погружайся.

– Я тоже не смогу с вами связаться.

– Что поделаешь.

– Ты будешь верить в меня?

– Конечно, буду. Лизе звонил?

– Да, она куда-то спешила, мы недолго говорили.

– Ты скажешь, когда закончишь?

– Конечно, скажу. Не знаю, когда. Может, полгода. – Мы смотрим друг на друга и молчим. Я люблю, когда Кристина смотрит на меня.

– У тебя там весна, – говорит она.

– Когда закончу, погуляем здесь?

– Конечно.

– Лиза такая взрослая.

– Ладно, – она оглядывается вокруг, я тоже застал ее на полушаге, – не грусти.

– Нет, нет, что ты!.. Ты веришь в меня?

– Ну, конечно, верю. – Она вздыхает. – Работай. Не торопись. Закончишь – позвони. – Я молча киваю. – Пока. – Она слегка улыбается.

– Пока, – отвечаю я, уже глядя вдоль берега. Олле бредет по нему издали. Наверно решил прогуляться. Вот он остановился и вытряс из башмаков песок. Босиком идти еще холодно. Я долго наблюдаю, как он приближается, двигаясь со свойственной ему беззаботностью.

– Ну что, – говорит он, немного запыхавшись, – как тебе?

– Подходит, – отвечаю я.

– Отлично, – он присаживается на бревно рядом, бросая рюкзак на песок. – Сейчас привяжем тебя... – Он начинает перебирать пальцами. – В общем, пока привыкай, потом я тебе сформулирую детали. Скорее всего, никто больше не появится. Кроме нас, здесь ни у кого нет неограниченного сервиса. – Он бегло оглядывается, – классно ты придумал с ма-

яком. Надо будет как-нибудь залезть туда.

– Он совсем старый.

– Ну, да... – Олле не хочет отвлекаться от дела, – как-нибудь обязательно залезем. Та-ак... Подтверди перенос... – Я протягиваю палец. – Все... Что мы еще должны сделать? Ах, да. Чтобы тебе совсем не было скучно, тут недалеко будет Супрем.

– Это еще зачем?!

– Нет, нет, он не будет мешать, ты же знаешь. Вы можете вообще не встретиться. Искать тебя сам он точно не будет. Но, ты же знаешь, есть Супрем – нет проблем.

– Нет проблем... – печально повторил я. Супрем, конечно, хороший парень, но здесь совершенно не нужен. Я должен находиться в полном одиночестве. А если он опять начнет ржать надо мной? Хотя мы давно не встречались. Я слышал, у него были какие-то заморочки. Может, он будет прятаться от меня сам? Черт с ним. – Ладно, – энергично добавил я, – Супрем, так Супрем. Больше сюрпризов нет?

– Нет, остальные сюрпризы произведи сам. Тогда, все. Если что-то важное, я сообщу. Для всех остальных ты теперь недоступен. Поздравляю. – Он улыбнулся во все свои кривые зубы. Я вздохнул. Олле встал и пошел обратно. Это вполне в его духе. Дело сделано – можно идти. Я думал, мы немного поболтаем просто так, как раньше.

– Олле! – заорал я вслед. – Ты в меня веришь?! – Он обернулся и, изобразив гримасу, развел руками. В смысле «как

тут не поверить!» Ладно, хоть так. Я посидел еще немного, провожая его взглядом. Олле все делает со смыслом. То, что он не приехал прямо сюда, а пришел откуда-то из-за изгиба берега, тоже что-то означает. Можно не сомневаться – в каждом его действии есть немного смысла. Совсем немного. Ровно столько, чтобы оно принесло свои плоды в указанный срок. В этом большая проблема мудрости. Ее нельзя понять, имея меньший горизонт. Но в этом и спасение – все хорошее происходит незаметно. Однажды я незаметно сел в лифт и уехал на самый верх. Меня позвали. К тому времени я стал делать экспертные оценки глубиной в год. На удивление, пока я ехал, никто не присоединился ко мне. «Интересно, – подумал я, – сколько бы я шел по лестнице?» На этот раз мне не хотелось искать в лифте изъяны. Он оказался весьма кстати. Может быть, чем выше едешь, тем он уместнее? А «не так» с ним то, что кое-кто катает его на один этаж? Запретить короткие поездки? Я даже тряхнул головой, чтобы выбросить из нее эти глупости. В конце концов, лифт уже давно меня не интересовал. Я передал вопрос о нем дальше. Вот если бы этих лифтов была тысяча на одном эшелоне, и стояла задача – выработать алгоритм структурирования их по массе... Двери открылись. Я вышел, повернул за угол и наткнулся на него. От удивления я почти что отпрыгнул. Это был Олле.

– Привет, – сказал он, как ни в чем не бывало.

– Привет, – ответил я. – Что ты здесь делаешь?! – Ол-

ле выглядел необычайно довольным тем впечатлением, что произвел. Наверно он давно представлял себе этот момент.

– Пойдем, – пригласил он. Мы прошли в кабинет. – Я здесь редко бываю. Только по особым случаям. Ты пешком?

– Нет, конечно, на лифте. Я бы весь день поднимался. – Он хохотнул. – Что все-таки с ним не так? – спросил я.

– Чепуха все это, – сказал Олле, – надо отвечать «плевать я хотел на лифт, я эксперт, а не лифтер».

– Черт.

– Забудь.

– Дай-ка взглянуть... – я подошел к окну, – не слабо.

– Да, мне тоже нравится. Хотя, наверно, уже не так. Я подумал, пора тебе заканчивать с пазлами. – Ну, наконец-то!! Внутри и так клокотало от неожиданной встречи. Неужели все?! – Все это интересно, – продолжал он, – но не до такой же степени... Я думаю, тебе пора заняться серьезными вещами.

– Ну, ты даешь! – только и смог сказать я. Мы с Олле немного похожи, он тоже, малость, тщеславен. – Как же ты умудрялся скрывать столько лет? И вы еще смеялись надо мной! Ну, вы и скоты! – Олле беззвучно трясся от смеха, широко открыв рот. – И Кристина знала?!

– Конечно. – Олле внимательно смотрел в глаза и наверняка заметил, как у меня внутри все сжалось. – Шутка. Никто не знает, кроме Супрема. Ты второй. – Мне все равно стало неприятно.

– А дети?!

– А им-то чего? – Он махнул рукой, – это им совсем не интересно. Не нужно особо распространяться, ладно?

– Само собой. – Я сел. Он тоже.

– Вкратце, – продолжил он, – есть кое-что, о чем надо подумать. Это немного касается паззлов, но... это совсем не то, чем все занимаются. Если бы я знал какого-нибудь эксперта со столетним сертификатом или выше, я бы, наверно, у него спросил. Но это долгая история, а вдруг он окажется муляжом? К тому же я стараюсь не работать с регулятором. Я подумал, ты лучше всего подойдешь. Какой у тебя допуск? – Подумать только, он даже этого не знает!

– Год, – сказал я. Возможно, в любой бы другой ситуации я сказал это с гордостью, но сейчас мои заслуги выглядели блекло. Олле мой ответ как будто разочаровал.

– Год? – переспросил он, – я думал десятка... – Ничего себе «десятка»! Это говорит он, сидя, небось, с этой самой «десяткой» на «крыше мира»? Врет, конечно. Все он знает. Я развел руками:

– Ладно, это только цифры. Не хотел бы – не встретились.

– Ну да, ну да. – Похоже, он сполна насладился своей ролью и пытался вернуться к нашим обычным отношениям. – Есть некоторое явление, оно может оказать влияние на все, что нас окружает. Здесь не хватит ни моих, ни твоих, ни чьих-то еще заслуг, чтобы правильно интерпретировать его. Мне и не нужна официальная интерпретация. Просто, неза-

висимая оценка. Мы давно знакомы, я тебя хорошо знаю – почему бы, нет?

– Действительно, – сказал я, – почему?

– То есть, ты согласен?

– О чем речь, Олле. Конечно, согласен, прекрати.

– Мне сейчас важно вот что, – сказал он с удовольствием. – О высоких материях – это потом. Ты мне скажи, что нужно, чтобы ты мог потратить время с толком? Как это все обставить?

– Э-э, – честно говоря, я не мог сразу ответить. На такие вопросы требуется время. – Надо подумать. Я правильно понимаю, ты хочешь куда-то отправить меня?

– Не знаю. – Олле поморщился. Я тоже не люблю, когда меня спрашивают, почему я думаю так, а не иначе. – Не знаю, – повторил он. – Мое мнение – нужно изолированно посвятить себя некоему вопросу. Это вопрос не трех дней, а скорее месяцев. Сам себе я не могу поставить такую задачу. Да ты и сам в курсе – я не способен на чем-то долго концентрироваться. Я рад, что возникла идея с тобой. Мне бы уже не хотелось думать на эту тему.

– Нет, нет, не думай! – воскликнул я, как будто испугался, что он передумает. Он улыбнулся.

– Наконец-то, скину с себя этот гемор.

– Давай! С радостью получу его прямо из рук твоей жопы!

– А-а! – выдавил Олле. – Держи. – Мы тупо поржали. Хорошо быть дебилами. Он встал, собираясь уходить.

– Ну, я пошел? – спросил я, зачем-то стараясь опередить его. Он кивнул. Олле и в обычной жизни бывает таким – бац, и до свидания. Я вышел из кабинета и подошел к лифту. Нет, минуточку. Зачем мне этот лифт? Я же эксперт, а не лифтер. Недолго думая, я дошел до лестницы и начал медленно спускаться. Нет ничего лучше, чем думать под какой-то фон. Для меня фон – монотонное действие. Можно думать, ковыряя в носу, можно – сидя на горшке. Кто-то думает, прогуливаясь по бесконечным дорожкам в парке. В детстве мне было тяжело переносить эти, казалось бы, минуты бездействия. Мне хотелось, чтобы их вообще не было. Дети не умеют ждать, если понимают, что ждут. Поэтому, если бы встал вопрос, какой сертификат выдать ребенку – наверно, несколько секунд, не больше. Нормальный ребенок не заглядывает в будущее. Ему хорошо и в настоящем. Взрослея, такой роскоши себе уже не позволить. Горизонт оценки медленно удаляется. Если пытаться удалять его враньем, мир станет кривым и хаотичным. Как же говорил Шланг?... Чем ближе горизонт, тем больше случайности? Да, для детей действительно многое случайно. Отодвигая горизонт, наполняем свою жизнь неизбежностью? Случайность отодвигается за горизонт? То есть, неизбежность, это наше знание о будущем, а необратимость, это случайность, не дающая этому знанию шагнуть в бесконечность? Что-то он еще говорил о времени, которым движет случайность... Надо бы перелистать лекции, освежить кое-что в памяти. Может, понадобится? Я продолжал

спускаться. Место, ассоциируемое с детством, фоновая работа, самодисциплина, любимое занятие и полное одиночество. Я пытался понять, что для меня важно, чтобы успешно поразмышлять. При анализе цепочек обмена я частенько гасил свет в кабинете, затемнял окна и сидел в полной темноте. Мысли приходят, только когда перестаешь осознавать себя. Это большое наказание – иметь и разум, и сознание. Хотел бы я посмотреть на существо, которое может мыслить, не осознавая себя. Получается, оно полностью отдано тому, что его окружает. Оно может что-то искать, создавать, пытаться понять и снова искать. И все это без единой осознанной попытки сделать что-то в своих интересах. Что скажет Кристина? А Лиза? Мы снова не увидимся. Лиза не расстроится, ей не до меня. Кристина? Я вспомнил нависшего над столом мужчину с бородкой. «Скоты!» – снова сказал я вслух. Невероятно, Олле эксперт такого уровня! А я еще мечтал об узловой экспертизе. И кто я теперь, после всего этого? И что бы было, если б я вообще не встретил его? А Кристину? Это и есть необратимость, о которой говорил Шланг? Случайность, движущая время? Куда бы пошли мои стрелки, если бы в тот солнечный день, я не решил очистить голову от пустых переживаний и не отправился вдоль берега сушить слезы под вопли чаек? А если бы Кристина вышла из воды минутой раньше? Может быть, там, дальше из воды выходил кто-то еще, и это была совсем другая история? Но, почему-то, мне кажется, там дальше не бы-

ло никаких историй. Она была одна, из нее – два исхода, и я выбрал лучший. Вроде, Шланг называл это позитивным ветвлением. Где лежат эти чертовы тетрадки? Если попробовать вернуться во времени назад, спуститься вниз по мелким и важным событиям, все они окажутся простым следствием той встречи. Если пытаться спуститься еще ниже, неизбежно споткнешься о ту секунду. После нее попадаешь в другой мир. Непонятно в какой. Из него не вернуться обратно. Так работает необратимость – через нее не перескочишь. Если уж скакать, то только по неизбежности. Я представил себе наблюдателя, для которого моя встреча с Кристиной могла бы показаться неслучайной. «Ваше отношение к абсолютно информированному наблюдателю будет меняться» – так, кажется, сказал Шланг. Он называл три вещи. Что там еще? Миллиард? Да, действительно, миллиард паззлов, это для меня уже не пчелиный рой. Это проблема, требующая серьезного подхода. А еще горизонт. Мой профессиональный горизонт – год. Но Олле, наверно, наплевать, он видит меня в иной роли. Для меня была так важна эта цифра, а Олле даже не интересовался ею. Как это прекрасно, получить свободу из рук друга. Конечно, мы не симбиотики, но что это меняет? Кристина, Кристина. Я опять думаю о ней. Мужчина и женщина – симбиотики, такое случается? Это, скорее, отклонение, чем норма. Многие мечтают о таком, но природу не обманешь, нельзя остаться свободным, родив детей. Но, не родив, можно ли рассчитывать на полную свободу?

Как хорошо, что Лиза уже выросла, занялась своими делами. Она совсем не такая как я. В ее возрасте мама еще наставляла меня, что делать и куда идти. Никак не хотела отпустить. И поэтому казалось, я не получаю любви. Мне потребуется взять с собой кое-что из того времени. К неизбежности надо относиться очень бережно, иначе случайности может и не произойти. Когда в голову начинают приходить новые мысли, это ли не явление необратимости? Разум – генератор случайности. Так говорил Шланг? Вот бы теперь с ним пообщаться. Хотя, какой ему интерес говорить со мной, обычным нерадивым студентом. Наверно, он уже умер. Он был совсем старый. Жаль, не смогу взять с собой детский дневник. Каким же я был ослом, выкинув его! Если моя неизбежность и строилась на чем-то, тот дневник вполне сошел бы за часть фундамента. А я собственноручно пустил его под экскаватор. Уничтожив кусок прошлого, я лишил себя части опоры будущего. Моя жизнь стала более осмысленна, но в ней уже не будет того маленького кусочка, который, возможно, благодаря серой тетрадке с мелкими листками осветил бы ее в каком-то другом направлении. Необратимость – капризное создание, стоит соврать себе, она тут же выберет другого. Ей интересны только чистые головы. Такие чистые, как, например, моя в тот день, когда я решил прогуляться по морю в расстроенных чувствах. Но как сохранять эту чистоту? Вот зачем Олле хочет изолировать меня. Он надеется, что в изоляции я стану чище, и мне в голову придут правиль-

ные идеи. Хотел бы и я верить в это. Что-то подсказывает, я окажусь там с тяжелым сердцем. Наверно, и сейчас в моей жизни что-то не так. Может быть, Олле и это знает? Для серьезного эксперта вполне нормальное состояние. Одним кивком он может решить несколько проблем, никому не повредив. Не слишком ли я идеализирую его? Он, просто, так живет. Вернемся к делу. Что мне понадобится? Тряпки, в которые я привык заворачиваться на ночь? Лекции Шланга? Мяч? Бас? Все? Из чего еще состоит моя жизнь? Кристина, Кристина... Плохо так долго не видеться. Где мне будет лучше? Разумеется, Сен-Хунгер. Но там слишком много народу. Еще бы! Известное место. Через Сен-Хунгер проходят цепочки обмена, уступающие по плотности только городским. Кто бы мог подумать тогда, в детстве, во что превратится обычная рыбацкая деревня. Лизе не понять, что я нашел там. У Лизы было совсем другое детство. Она – человек мира, а не пустых привязанностей. Мы рано отпустили ее. Кристина – со свойственным хладнокровием, я – имея красноречивый пример того, как не надо поступать. Если бы не Сен-Хунгер, я не отправился бы к морю в тот день, когда встретил Кристину. Наверно, я искал бы другое место. Место, где наедине с собой можно попытаться очистить голову. Куда стремишься попасть, если что-то идет не так. Чем может быть такое место? У каждого оно наверняка свое. Оно как-то связано с надеждами, мечтами или, скорее, с чувством свободы. Интересно, есть ли такое место у Лизы? Чем свободнее

человек, тем проще ему очистить голову? Тем меньше он зависит от места? Выходит, то место, куда возвращаешься – это точка отсчета, от которой хочется двигаться дальше? А если не получается, то так и ходишь кругами, не в силах оторваться? Ищешь возможности зацепиться за что-то новое, но падаешь обратно, так и не найдя новой опоры? Откуда взялся этот Сен-Хунгер? Впервые меня привезла туда мама. Там бывал и мой отец. Вести дневник в Сен-Хунгере было сложнее всего – столько событий. Нехотя, я сел за тетрадку вечером и, быстро заполняя очередной лист, скорее захлопывал ее. Чтобы делать это более обстоятельно не хватило одной мелочи – хорошего горизонта. Но, на то оно и детство, чтобы не думать о будущем. В детстве я бы с ума сошел спускаться по этой лестнице. А теперь, даже, наслаждаюсь. Иду, не тороплюсь. Отличное время, чтобы подумать. Как хорошо, что мне вообще пришла в голову эта идея – не ездить на лифте. Сначала я придерживался ее безоговорочно. Однажды, когда уже почти забыл о человеке с бородкой, поведавшем о вреде секса, меня пригласили наверх. Я сразу вспомнил его и подумал, что по-прежнему не могу порадоваться. Дело было важное. Я здорово колебался, стоит ли нарушать собственные же принципы и идти пешком. Затем, все-таки решил – есть основания их нарушить. А если кому-то покажется, что я лицемер, так это их проблемы. Тем не менее, было очень непривычно. Я вошел в лифт не сразу. Посмотрел по сторонам, заглянул внутрь. Маленький спектакль

для самого себя, чтобы преодолеть противоречие. Зеркальные стены и потолок. Давно не виделись. Двери закрылись. Они тоже зеркальные. Никуда от себя не деться. Может, это была плохая идея? Насчет зеркал. Почему, тогда, до сих пор ее никто не опроверг? Я бы хотел доехать без свидетелей, но двери открылись, и вошел знакомый. «Ого, – сказал он, улыбаясь, – почему на лифте? Ты больше не эксперт?». Я пожал плечами. Лифт всего лишь обнародовал мою спешку. Не более того. Что не так в этом лифте? Может быть, еще и это – в нем собираются те, кто спешит? Если не спешить, зачем тогда лифт? Однако его пассажиры не слишком похожи на спешащих. Даже, наоборот. Значит, собираясь в лифте, они врут друг другу? Что за ерунда. «Пока», – сказал я и вышел. Вместо мужчины с бородкой меня ожидала незнакомая женщина. Одно мог сказать точно – я бы запомнил, повстречай ее на лестнице. Мне почему-то сразу полегчало.

– Эксперт катается на лифте? – спросила она.

– Не хотел вас задерживать, – сухо сказал я, чтобы покончить с этой темой раз и навсегда. Вот бы тогда ответить ей, как научил Олле!

– Ну, что же, – сказала она, приглашая сесть, – никаких тестов мы не проводим – это, просто, беседа. О ее цели мы оба можем догадываться, но она не озвучена. Моя задача – сделать свою работу. Ваша – свою. Я буду задавать вопросы. Надо сказать, они для меня весьма привычны. Вы можете отвечать или не отвечать, спрашивать сами. В общем,

чувствуйте себя совершенно свободно. Когда мы закончим, у меня сложится некоторое впечатление, подкрепленное тем, что вы скажете. Воспринимайте меня в качестве посредника – вы можете говорить о чем угодно, а я сделаю из этого «что угодно» – что нужно.

– Да, да, – сказал я, присаживаясь.

– Пару слов о себе, если можно. В качестве вступления. – Она дружелюбно смотрела на меня. Вообще-то, приятно это, о себе рассказывать. Главное, вовремя остановиться. А иначе произойдет как в тот раз – человек с бородкой зевнул и подумал: «когда же он, наконец, заткнется, а я пойду пить чай». Женщина не будет зевать, она, просто, перестанет спрашивать.

– Я люблю думать, – сказал я. – Иногда мне кажется, что ничего другого и не умею. Я вижу, когда что-то работает не так. Если хорошо подумать, могу все исправить минимальными средствами. В этом заключается класс эксперта – минимум действий, максимум результата. Иногда вообще не надо ничего трогать. Понять это – самый высокий уровень. Я принимаю решение на основе предоставленной информации. Она, как правило, неполная, в большинстве своем ошибочная. Класс эксперта заключается и в этом – принять правильное решение на основе информации, не соответствующей действительности. Самый высокий уровень – это правильное решение при полном ее отсутствии. В пределе надо к этому стремиться. Я люблю использовать анало-

гии из других областей, порой не смежных. Иногда мне жаль, что мозг маловат – не хватает ассоциативности. Синтетика, в принципе, помогает, но лучше думать самому – она может и начудить. Мое слабое место, как, наверно, любого эксперта – не могу создавать что-то новое, придумывать с нуля, сыпать идеями. Могу только править готовую систему, пусть даже самую кривую. Знаю, есть люди противоположного склада. Они могут придумать что-нибудь невероятное, но оно будет плохо работать, а у них не хватает азарта или интереса довести все до ума. В таких случаях и нужен такой человек как я.

– Вы очень хорошо все описали, – сказала она, убедившись, что я не собираюсь продолжать. – Расскажите конкретнее, чем вы занимаетесь. – «Главное не повторить прошлой ошибки!» – подумал я.

– Цепочки обмена, – я посмотрел ей в глаза, пытаюсь понять, понимает ли она, о чем речь, – ну, то есть, устоявшиеся траектории пазлов, – вроде понимает, – рисуют во времени определенные фигуры. – Я сделал неопределенный жест руками. Она кивнула. – Был период, когда главной задачей считался поиск этих фигур. Они образуют некое подобие порядка, значит, частично предсказуемы. Как только появляется неизбежность – можно упрощать алгоритмы управления. – Я помолчал. Ей еще интересно? – Но в какой-то момент все слишком увлеклись этими фигурами, в результате появилось такое множество алгоритмов, что стало ясно –

система вырождается. Сейчас пошел обратный процесс. Фигуры приводятся к общему знаменателю, то есть, в структурировании цепочек ищется неизбежность более высокого порядка, не зависящая от их форм. Это современный подход. Система начала упрощаться. Я принимаю в этом непосредственное участие – исключаю дублирование информации в обработке параметров структурирования. – Ни слова лишнего!

– Я, честно говоря, не очень владею вопросом, – все-таки призналась она. – Может, приведете какой-нибудь простой пример? Из жизни?

– Из жизни? – Я задумался. Чертовы примеры из жизни! Я и так говорил вполне конкретно! Не то, что в прошлый раз.

– Ну, да, – беззаботно добавила она. – А то, знаете, как бывает? Погружаешься во что-то и видишь только самое сложное, и трепещешь от этого. Трепещешь и трепещешь... и совсем не хочешь упрощать. Потом проходит время, появляется понимание. Небольшое, такое. Но вроде все становится немного проще. И трепет тоже идет на убыль. Но полной ясности все равно нет. А потом, вдруг, рраз! И выясняется, что вся сложность состоит из таких маленьких простых вещей... простых связей. Может, и здесь также? – Она подняла брови. – Есть ли у вас трепет?

– Да, безусловно, присутствует, – сказал я нехотя. – Но он вдохновляет, и это главное!

– Давайте пример.

– Допустим, есть новый продукт, – со всей готовностью, сообщил я. – Паззлы начинают доставлять его ограниченному кругу лиц, как правило, приближенному к производителю. Это узкая цепочка, она обычно зарождается на прошлых связях. Затем, если все в порядке, спрос лавинно растет, цепочка начинает сильно ветвиться. Так называемое, адресатное рассеивание. Затем продукт начинает дублироваться другими производителями. Цепочка рассеивается уже с другого конца. Это – адресантное рассеивание. Такие фигуры наиболее повторяемы на горизонте полугода, их легко прогнозировать, а, значит, проще управлять параметрами резервирования, кластеризации, зависания и всеми прочими.

– Ну, хорошо, – сказала она, – у вас есть дети?

– Дочка, – ответил я, немного расстроившись, что сменилась тема.

– Сколько ей?

– Пять.

– Вот, ей бы вы как объяснили? – Она подвинула руки, словно собиралась слушать меня еще внимательнее. Я напрягся. Неужели она до сих пор не впечатлилась точностью моих формулировок?

– Иногда творожок может опоздать потому, что ты... не похожа на других, – сказал я и выдохнул. Примеры даются мне с большим трудом. – Вообще-то, есть такая шутка: опоздавший паззл – хороший знак. – Я снова следил – интересно ли ей. Никакой реакции. – Если паззл задерживается,

значит, делаешь что-то умное. То есть, ты уже в будущем. А остальные – нет. А там, где остальные – там все цепочки, там никто не опаздывает. – Наверно, зря я это сказал.

– Непохожесть нарушает привычное течение вещей? – спросила она осторожно.

– Непохожесть нарушает неизбежность, – уточнил я. – Пазл становится лишним. Он может зависать, упираться в более крупные, прилепляться к ним. В общем, ведет себя, как карась в косяке селедки – вроде и плывет со всеми, только удобный момент поймать не может, чтобы выскочить.

– Все равно не очень понятно, – проговорила она и пожала плечами.

– Короче, – бодро сказал я. – Рискованнее всего получать нетипичный продукт в нетипичном месте. Если вы решите путешествовать, то лучше делать это вдоль стандартных цепочек, а не таскать за собой паззлы с творожком по всему миру.

– Это я поняла, а лично вы как этому способствуете? – вдруг спросила она. «Какая невероятная способность довести до бешенства! – подумал я. – И при этом вести себя как на свидании».

– Я ищу схожие тенденции в динамике изменения цепочек...

– То есть, именно благодаря вам я останусь без творожка на Северном полюсе?

– Получается, что – да, – ответил я. – На самом деле

не останетесь, но он подпортит баланс и, возможно, опоздает. В этом и проблема. Если перейти к более общим принципам управления, она снимется сама собой. Но в ближайшее время не получится.

– Ну, хорошо, – сказала она, не совсем удовлетворившись ответами. Лицо ее перестало источать благодушие. – Есть какие-нибудь практические результаты вашей работы, о которых приятно вспомнить?

– Конечно, – ответил я. – Потом помолчал и добавил: – Вообще-то, нет. Я большей частью собираю информацию и выделяю некоторые спонтанные закономерности. Структурами занимаются эксперты с сертификатом от года. Не чувствую себя героем. – Внезапно мне показалось, что она знала это и без меня. Зачем я вкручивал ей высокие материи? Выставил себя полным придурком. Впрочем, как обычно. Энтузиазм, предшествующий встрече, покинул меня.

– Вас легко зацепить? – спросила она. Ну, вот и началось.

– Есть больные темы, – согласился я.

– Например, ваш сертификат?

– Да, я хотел бы управлять структурами, а не событиями.

– На самом деле, я имела в виду, легко ли зацепить ваше внимание. Что вызывает у вас подлинный интерес?

– Интерес? – переспросил я. Наверно, лучше отвечать, как есть. Иначе она опять выставит меня дураком. – Ваши вопросы, – продолжил я, – вызывают интерес.

– Любите, когда вами интересуются?

– Чего скрывать.

– Какие вопросы вам нравятся?

– Те, которые служат хорошим поводом продемонстрировать свое превосходство.

– Превосходство над кем?

– Над всеми, кто еще не аплодирует. Один рукоплещут, другие посрамлены и удаляются.

– Те, кто еще не аплодирует... вы ненавидите их?

– Возможно.

– Подумайте...

– Есть предположение.

– И что же?

– Возможно, я не люблю себя в прошлом, а те, другие, как раз напоминают меня. Так как прошлое мною успешно преодолено, хочется насмеяться над ними, потому что я выбрался оттуда, а они нет. Чем не явное превосходство?

– То есть, нелюбовь к тем, другим, в настоящем – это нелюбовь к себе в прошлом?

– Получается так.

– Это признак рабской психологии, – сообщила она без малейшего сожаления. А я-то надеялся удивить ее глубиной самопознания. – Все, что надо иметь в виду – раб, становясь хозяином, тиранит с удвоенной силой.

– Мне кажется, вы немного преувеличиваете, – сказал я, не зная, как продолжать.

– Одно можно сказать точно, – другим тоном добавила

она, – вас, без сомнения, как любого нормального человека расстраивает безразличие.

– Не знаю, – ответил я, и без того сбитый с толку.

– Кто-то научил вас сравнивать себя с другими?

– Возможно...

– Знаете, – сказала она, как будто погружаясь в какой-то другой, более спокойный мир, – тщеславие, всегда имеет точку приложения. Оно не живет в свободном состоянии. Можно получить мировую славу и признание, и это ровным счетом ничего не изменит, потому что останется человек, все равно, никогда вас не признающий. Человек, нарушивший вашу природную самодостаточность, причем, скорее всего, прилюдно. Таких в разное время могло быть несколько. Все они копали одну и ту же яму, но кем бы ни были, вам лучше избегать их, – она замолчала, строго глядя на меня. Потом ее взгляд потеплел, она едва заметно улыбнулась и добавила: – Ну, или простить. – Я машинально отвернулся, заморгал глазами. Она совсем выбила меня из колеи. Только что мы говорили, казалось бы, об одном, теперь о другом. О чем вообще мы говорим?

– А сам я могу быть этим человеком? – спросил я после долгих раздумий.

– Тогда вам придется простить себя, – ответила она. – Потому что избежать себя не получится. – Я снова отвернулся, на этот раз без всякого стеснения.

– И так у всех?

– В целом, да, – ответила она. – Это тоже своего рода неизбежность. Она преследует через поколения, пока кто-то не ставит точку. Если ее не преодолеть, можно остаться где-то там, в подростковом возрасте. В прошлом, короче. – Она немного помолчала. – Так многие потихоньку превращаются в бывнють. Видят себя, поругиваются. Вы ругаетесь?

– Бывает, – ответил я, удивившись, как легко она ввернула словцо.

– Понимаете, почему?

– Кажется, да, – ответил я, пытаюсь успеть за ее мыслью.

– Страшно сказать, – продолжила она, – человек становится «плохим», – она подчеркнула это слово, – всего лишь потому, что не хочет принять себя, каким есть.

– Но у меня еще не все потеряно? – спросил я, пытаюсь хоть немного пошутить.

– Конечно, не все, – сказала она улыбаясь. – Вы – хороший. Вы же мечтаете не о слепом поклонении, а всего лишь о признании среди тех, кого признаете сами. У вас нет потребности извлекать из славы власть. Просто, при определенных условиях это может появиться, если не отдавать себе отчета в происходящем. Для карьеры эксперта это фатально.

– Нет, нет! – сказал я, – я стараюсь предельно внимательно к себе относиться!

– Не сомневаюсь, – искренне согласилась она. – Все правильно. Нет никакой проблемы. Просто, известно, как это бывает у некоторых. – Она выжидающе помолчала, словно

мы общались через переводчика. – Иногда нас выдают собственные фантазии. Их не надо бояться, они всего лишь пробы на вкус. – Она снова помолчала, как будто я должен был что-то ответить. – Поделитесь? – Беззаботный прямой вопрос. Наверно, ее не расстроит, если я откажусь отвечать. Но я люблю рассказывать о себе. Не могу удержаться. Всегда кажется, что это произведет впечатление.

– В детстве, – начал я, – мне приходилось часто оставаться одному, и было очень скучно. То есть, тогда я не знал, что это скука, поэтому развлекал себя сам. Я придумал себе друзей, и мы вместе играли. Их было, кажется, четверо. Поначалу, может, и больше... просто, этих я лучше запомнил. Один самый близкий, один... нелепый, еще один – безликий, этот, скорее, для массовки, и четвертый – самый вредный. На нем я чаще всего вымещал ярость.

– Что вас злило?

– Да, что угодно, – отмахнулся я. – Обычно, если что-то не получалось, я впадал в тихое бешенство и...

– Мама не допускала мысли, что вы можете столкнуться со сложностями в жизни? – перебила она.

– Наверно, – развел руками я. – Какая связь?

– Я, просто, спросила. Как вы... наказывали их?

– Убивал, – четко ответил я. Она не подала вида. Или для нее это не новость?

– Каким образом?

– По-разному... – неуверенно сказал я. – Ножницами

в шею или молотком по голове... в зависимости от того, что именно не получалось, и что было в руках. Иногда бил ногами. Сначала я убивал исключительно самого вредного. Он и придумался, чтобы вымещать злобу. Всякий раз, когда созревала ситуация, он подворачивался под руку, как будто оживший с прошлого раза или не до конца добитый. От расправы над ним, мне становилось легче, я продолжал делать то, что не выходило, и всегда доделывал. – Воспоминания захватили меня. – Я мог что-то резать или вколачивать гвоздик... или, просто, что-то потерять. Больше всего им не везло, если вместо гвоздика я бил по пальцам.

– А потом? – спросила она, чувствуя, что я еще не закончил.

– Потом убивать самого вредного надоело. Это стало слишком привычным и уже не давало того облегчения. Я перешел к следующему. Причем вредный все равно пасся где-то рядом, просто, меньше мешался. Так я дошел до лучшего друга. К тому времени те трое уже редко были рядом, мне хватало одного. Я все время с ним разговаривал. Мы везде были вдвоем. Но, несмотря на это, если что-то шло не так, расправлялся с ним. – Я замолчал. Даже сейчас мне было его жаль.

– А живые друзья у вас были?

– Живые... – повторил я.

– Да, настоящие, – сказала она.

– Н-нет, – ответил я неопределенно. – Какие друзья

в шесть-семь лет? И потом, никто не объяснял, как надо дружить. Я и слова такого не знал, – пожал плечами я. И это была правда. Впрочем, как и все остальное.

– Куда в последствие делись те друзья, воображаемые? Вам удалось убить их окончательно?

– Думаю, нет, – ответил я. – Они просто ушли. Я их совсем уже не помню... – Детство, как будто едва заметно дунуло в лицо из того времени. Стало как-то легко, но с примесью сожаления.

– Они простили вас? – медленно, почти утвердительно спросила она.

– Думаю, да... – неуверенно согласился я, почувствовав необъяснимую тревогу, словно от нового движения воздуха. – Разве можно не простить мальчика? – От странного ощущения немного защипало глаза. Ее лицо ничего не выражало.

– Не стоит придавать этому слишком большого значения, – буднично произнесла она, откидываясь на спинку кресла. – Все живы, – она улыбнулась, – повзрослели. Интересно, что вы все запомнили. Вот, суть истории. Ваше отношение к себе. – Ее искренний взгляд просветил меня насквозь. Думал, она скажет – я опасен. – Я уже как-то начала спрашивать, – добавила она, делая жест, что немного меняет тему, – чем вы хотели бы заниматься. Что может зацепить и удержать ваш интерес надолго? Не в смысле работы, а вообще? Если поместить вас в водоворот событий – последу-

ет развитие, появятся интерес и вопросы, как возможность показать превосходство. Но, когда, допустим, ничего этого нет? Нет вопросов и нет никакого интереса к вам? Как быть тогда? – Глядя на нее, я вспомнил слова одного старого друга: «Сколько ни занимайся, потом, все равно, еще захочется!» – сказал он о сексе, выделив его в самый желаемый сегмент своего внимания.

– Когда весь мир спит, – ответил я, – боюсь, только секс может разбудить меня и призвать к действию. – Мы помолчали, будто слушая этот уснувший мир. – Не каждый день! – поспешил я добавить вдогонку.

– Секс не всегда оставляет чувство морального удовлетворения, – небрежно проговорила она. – Вот, если бы всякий раз мы могли рассчитывать на что-то особенное... Что, если отбросить все возможные ограничения? Представьте, все мыслимые женщины перед вами, остается только начать. Что это будет, по-вашему? – Она замерла в ожидании ответа. Вытягивая ноги, я отодвинулся с креслом чуть в сторону и, подняв глаза к потолку, произнес:

– Если отбросить ограничения... – это должна быть самая привлекательная самка с точки зрения всего мира, для которой я стану самым привлекательным самцом, и мир примет это и поймет свою несостоятельность. Мы будем совокупляться у всех на глазах, и ей будет хорошо как ни с кем и никогда. Ни до, ни после. Это все поймут и запомнят навсегда.

– Очень по-мужски, – подтвердила она. – Показать стае свое превосходство, выбрать лучшую самку и публично овладеть ею. Давайте попробуем определить размер вашей стаи. Первоначально, это весь мир. Однако. Скорее всего, из него можно кого-то исключить? Попробуйте найти в этом мире тех, чье мнение или его отсутствие не сильно подпортит вам кайф от происходящего. – Признаться, такой вопрос погрузил меня в глубокие раздумья. Я бегло пролистал невнятные страницы своей жизни.

– Араб, предлагающий покататься на верблюдах, – сказал я, наконец. – Его можно исключить из списка зрителей...

– И, кстати, – перебила она, – что после публичного акта превосходства? Ведь, эту власть надо каким-то образом удерживать? Как вы это сделаете? Силой или иначе?

– Вы просили предельную ситуацию. В пределе я должен быть непререкаемым авторитетом.

– Каким образом?

– Видимо, безусловным.

– Что наступит после того, как вы добьетесь этого?

– Боюсь, это не важно. Главное, сам процесс. Сообщество независимых самок должно восхищаться мною, испытывать постоянный интерес. Но не быть зависимым от меня. Зависимость – главная угроза.

– В чем тогда власть, если нет зависимости?

– Не власть... Власть это не то... не то, что нужно... Власть нужна, когда что-то не получается. Это как бы иллю-

зия успеха, попытка принудить к своим интересам. Думаю, дело совсем не в этом. Власть – удел тех, кто сам ничего не может.

– То есть власть вас не привлекает?

– Вы же сами говорили, нет! Меня привлекает интерес ко мне. Интерес сильнее любого принуждения. Но интерес не слепой, как если бы я был публичным человеком, а осмысленный.

– Вы что-то делаете, чтобы привлекать самок?

– По-моему, нет.

– Может быть, все же... как вы очаровываете?

– Вот так.

– Как?

– Я с самого начала абсолютно искренен с вами. Это ли не причина очароваться мною? Или вы любите вранье? – Я пожал плечами. – Вот, видите, обстоятельства сильнее нас. Мой конек – производить впечатление правдой. А для этого нужно хорошо в ней разбираться. Думаю, в этом мое превосходство. Я слежу за правдой и поэтому получаю только необходимое. На прочее мне просто не хватает лжи. Вы, без сомнения, интересны как женщина, но знакомство пойдет на смарку, если завершится общим оргазмом.

– Мы не сможем говорить дальше?

– Это немного странно, да?

– В чем же дело?

– Обстоятельства нашей встречи. Вы задаете вопросы, я

отвечаю. Вы знаете обо мне гораздо больше, чем я о вас. Я становлюсь для вас ближе, вы для меня – нет. Мы в неравных условиях.

– Задайте вопрос.

– Не хочется вопросов.

– Почему? Я вас не интересую как личность?

– Интересуете.

– Вас напрягает близость?

– Не близость, а скорость, с которой она обесценивается.

Вы еще не надоели мне в наших нынешних отношениях. Зачем портить удовольствие?

– То есть, первый шаг к сближению делает тот, кому больше надоело?

– Кто больше узнал и хочет еще. Но если перепрыгнуть ступеньки... – я оглядел ее подчеркнуто изучающе: – вы что-то говорили про моральное неудовлетворение...

– И так с кем угодно? – спросила она, не слушая.

– К черту остальных! – воскликнул я. Мы помолчали. Повисло напряжение. – Сколько вам лет?

– Тридцать семь – ответила она без сожаления и кокетства. – Это имеет значение?

– Нет. Просто, хотел услышать, как вы скажете это, – безразлично сказал я, глядя на кисти ее рук. – Как вам живется с такой внешностью?

– С какого-то момента легко, – смягчилась она. – У меня были хорошие друзья. – Я промолчал. Что и говорить,

она прекрасна. – Давайте вернемся к предыдущему вопросу. Что с тем арабом, почему его можно вычеркнуть? Почему ваша аудитория может обойтись без него? – Я стал с трудом вспоминать, к чему относился этот араб. Ему можно было не смотреть на мой секс?

– Я никогда не пас верблюдов, не спал в пустыне, – начал перечислять я, попутно размышляя о шагах близости. Они были корявы. – ... Не преодолевал его сложности. Что объединяет нас? Только минута встречи. Я не знаю, как он живет, он – как я. Я не делал его ошибок, он – моих. Если такие имеются, – добавил я, подумав еще. – Ему будет совсем не интересно. Как если бы я смотрел на секс между его верблюдами. Любопытно, не более.

– Получается из мира можно вычесть всех тех, кто не делал ваших ошибок? Кто же останется?

– Честно говоря, может это слишком громоздкий план? – спросил я. – Мне он уже не очень нравится.

– Мы как раз пытаемся его локализовать. Кого оставим? Вот в чем вопрос.

– Да, да. – Мысли остановились. Идея перестала вдохновлять. Я даже почувствовал усталость, словно реализовал какую-то очередную глупость. Чего меня понесло? Я снова посмотрел на ее руки. Определенно ей удалось порушить мои вселенские планы. – Может, это вообще не совсем то, что хотелось? – добавил я.

– Предложите другое, – машинально сказала она. – Хотя,

нет! Достаточно. Ответьте, лучше, представляете ли вы ситуацию, когда ваша аудитория локализовалась до всего лишь одного человека? И этот человек – та самая, как вы говорите, лучшая самка, но вам почему-то уже неважно ничье присутствие, кроме ее? – Она впилась в меня взглядом. На мгновение подумалось о Кристине.

– В здравом уме я представляю себе такую ситуацию, – покорно отчеканил я. – Но, на то я и мужчина, чтобы мой ум иногда туманили звериные инстинкты.

– Куда же без них! – согласилась она. – Видимо, у тех, кто борется за лучшую самку, нет любви?

– А что удивительного?

– Получается, – продолжила она, – что главным показателем любви служит ваше полное равнодушие к зрителям.

– Да, наверное, – согласился я. Она сдвинула брови, готовясь к решающему вопросу:

– То есть, любовь уничтожает инстинкт вожака стаи? Так, что же для вас любовь? – Я опустил голову, потому что уже знал, она спросит именно это. И начал думать, зная, что не найду ответа ни сейчас, ни сегодня, ни завтра.

– Не знаю, – наконец, сдался я. – Не знаю. Любовь... – Я снова представил себе Кристину. – Она должна быть разной... В ней должно быть какое-то... восхищение. Причем, не важно, чем. Может быть, какой-то мелочью, доступной только мне одному. И оно должно быть делимо и признано нами... Не знаю. Восхищение... нечто, быющее строго

в эмоцию, в тонкую струну. Неизживаемое нечто, связывающее людей без малейшей возможности избежать этого, – я поднял глаза, чтобы понять, убедил ли ее хоть в чем-то. Она смотрела куда-то мимо меня. Мне стало спокойно. Наверно, я правильно выразился. Молча, мы просидели с минуту. Потом она повторила эхом:

– Без малейшей возможности избежать этого... то есть... неизбежность эмоции при любой случайности.

– Да, – подтвердил я, довольный, что она так кратко перефразировала мою с трудом оформленную мысль. – Мы снова помолчали.

– Когда вы окончательно разберетесь с сексом, любовью и всем прочим, что может возникнуть между людьми, – наконец, продолжила она своим обычным нейтрально-добродушным тоном, – обнаружится ли какое-то особое занятие, чему вы посвятите себя окончательно? – Судя по вопросу, мне стало очевидно, что такие времена наступят нескоро. Я вздохнул, понимая, что не имел никаких шансов создать о себе иное впечатление.

– Думаю, для меня это связано с какими-то новыми знаниями, – неуверенно начал я. Слишком уж об отдаленной перспективе шла речь. – Знаниями, позволяющими становиться другим... анализ чего-то... эксперимент... но все это должно иметь какую-то высшую, непостижимую цель. Не знаю, какую. Наверно, это и не важно. Главное – развитие. – Я застыл, чтобы не потерять окончание мысли. – И знаете?! –

Она дозрела в голове на удивление легко: – Я бы хотел, чтобы в итоге кто-то значимый для меня, тот, от кого я принял бы любую оценку, сказал: «...Это без сомнения, работа очень высокого уровня». – Где-то в памяти мелькнула фигура Шланга. Я закончил, а она пребывала все в той же задумчивости. Я, наконец, сказал что-то умное? Или наоборот?

– Сколько мужчин мечтает о великой вселенской миссии, – вдруг, совсем неформально произнесла она. – Женщины, конечно, устроены совсем иначе. Как плохие якоря, – ее лицо расплылось в улыбке разочарования. – Они либо отрываются, тонут, зарываясь в песок, либо топят все судно. Мы как ваши представители в реальном мире. Как погрузить мужчину в этот реальный мир?

– Может быть, и не нужно? – осторожно спросил я.

– Когда вы в последний раз плакали? – спросила она в ответ. Связь между мужчинами, реальным миром и слезами мне показалась сомнительной.

– На самом деле я очень сентиментален и плачу всякий раз, когда вижу чей-то успех, – ответил я, стараясь особо не драматизировать.

– Всякий раз? – удивилась она.

– Настоящий успех – редкое явление, – оправдался я.

– А что это вообще такое, успех?

– Успех... – протянул я, – когда ты на своем месте. Когда тебя признают именно там. Не нужно что-то придумывать, пытаться кого-то очаровать, играть чью-то роль. Ты, просто,

что-то делаешь, и ни у кого вокруг нет сомнений, что ты создан для этого. Когда восхищаются и тем, как ты делаешь это, и тем, что ты умудрился найти себя полностью, ведь, большинству это недоступно. Наверное, это наивысшее счастье в жизни, – добавил я.

– У вас есть такой пример? – спросила она, без особой надежды.

– Настоящее искусство, – сказал я, – повод для чистых слез. Концерт Сезарии – вот, уж, кто на своем месте и общепризнан. Она, просто, поет. И все. Больше ничего не нужно. Существует только ее голос. Последний раз я чувствовал слезы там.

– Ты действительно можешь заплакать на концерте Сезарии? – спросила она, чуть ли не с восторгом.

– Вообще-то, на концертах я слежу за всеми музыкантами, – уклонился я. – Особенно за басистами. Они – моя слабость. Такие незаметные, порой, весьма статичные люди, которых многие и не замечают вовсе. Но, убери басиста – ничего не будет. Не будет колебаний воздуха, вдохновения, желания ожидать большего и почему-то приходить снова. Не будет дрожать грудная клетка и рябить в глазах. Басисты – моя бесконечная любовь. Вечно на заднем плане, неизвестные в широких кругах, часто сосредоточенные на себе и инструменте, но абсолютно незаменимые. Простые ребята, которые могут заставить вибрировать зал и незаметно украсить вечер любого артиста. Даже Сезарии.

– У меня есть одна история про басиста, – сказала она, как будто раздумывая, рассказать или нет. – Одновременно сложная и простая. Раз, ты коснулся этого. – Я с удовольствием смотрел на ее лицо. Не думал, что ей близка эта тема. – Умерла одна певица. Не сказать, что сильно известная, но хорошая. Известная больше в прошлом, а потом как-то постепенно подзабытая. Действительно, хорошая... Она еще и старой-то не была, так... в возрасте. Но, умерла. Устроили концерт памяти. Кто туда пришел выступать? Были, конечно, люди, которые и сейчас на пике творчества. Но... также и те, кто был популярен тогда, вместе с ней. В ее время. Такие... как сказать... Сразу бросалось в глаза отличие... в том, как они держатся, как оделись... слегка поношенные, что ли... Ни смешные, ни нелепые... не знаю, как объяснить... Но очень трогательные! И, вот, выступает один старый артист, он, уж, сто лет не выступал. И пиджак у него еще такой был, светло-коричневый, видно, что единственный остался для таких случаев. Вот, он запел. Старую свою песню, естественно. А голос у него молодой, но чувствуется уже, что связки слабые, а песня известная, все знают, что там, ближе к концовке, надо наверх идти, и это должно быть мощно, сильно, короче вся суть песни в этих последних тактах. Когда он только начал, у всех словно тревога возникла – как же он споет-то? Чувствуется по первым нотам – голос слегка дрожит, давно не выступал, волнуется. Еще и повод такой. Музыканты все напряглись. Это всегда чувствуется.

Но он почти сразу собрался, плечи расправил, голос дрожать перестал и пошел все чище и чище, мощнее и мощнее. Как... старый тростник на ветру... Видно, каким он был в молодости. И, вот, когда он дошел до этого места... зал, просто, замер, уже никто не сомневается, что возьмет он эти ноты... А он голосом уходит наверх, и, так, еще микрофон в сторону отвел, как это раньше делали... таким привычным жестом... уверенным. Из своего времени. И я вижу, в момент этого жеста, когда его голос уже у каждого внутри, басист сзади начинает плакать. Причем, ему никак это не скрыть, руки заняты – он должен доиграть, он не может остановиться! И, вот, он губы сжал зубами и доигрывает, а все – на лице: слезы льются рекой, подбородок трясется. И я смотрю на него, и сама начинаю реветь, потому что и без того уже растрогалась, еще этот пиджак... И понимаю, что он, там, понимает то же, что понимаю и я, и также видит этот старческий жест с микрофоном, и видит этот... пиджак, одетый второй раз в жизни, и понимает, что есть еще голос и огромное чувство собственного достоинства, не позволяющее спеть на октаву ниже. Доиграл, конечно. И артист допел, как надо. Они и знакомы-то не были. Он как со сцены ушел, бас свой в сторонку тут же поставил, а сам по стенке вниз, на корточки, лицо руками обхватил и трясся так еще минут пятнадцать, пока в себя не пришел. Никто его не трогал... Понятно, у него был свой повод... Но, тем не менее... Видишь – история и о том, и о другом. И о слезах, и о басистах.

– Хорошая история, – сказал я. – Ты как-то связана с музыкой?

– Да, – ответила она. – Была связана. Это я подарила ему пиджак. Он был моим очень большим другом.

– Он умер? – почему-то спросил я.

– Да, – ответила она. – Давно.

– Дети?

– Сыну пятнадцать. – Вообще-то, я не люблю душещипательные истории. После них никогда не знаешь, о чем говорить. Вроде о чем-то другом – еще рано, а о том же – уже не хочется.

– А я, вот, совсем не знаю, как быть с детьми, – сказал я, наконец. – Мне кажется, я больше увлечен собой.

– Это совершенно нормально для мужчины, – ответила она, – ты, просто, иногда должен быть рядом. И все.

– Да, – согласился я. – Отец совершенно не интересовался мной. Поэтому, я знаю как не должно быть. Но, как должно? Меня пугает, когда дочь вырастет, я буду ей совсем не интересен.

– Почему?

– Не знаю... Я полностью доверяю Кристине, но сам... Лиза разделила нас. – Глупейший разговор... – Ты хорошо живешь?

– Я очень хорошо живу, – сказала она решительно. – Никогда не была счастлива именно так и не думала, что это возможно. Совсем не то, о чем мечтала. Все так просто. И я мо-

гу выбирать любого мужчину. – Она вскинула брови: – При-  
знаюсь, идея публичного совокупления с женщиной, обожа-  
емым всем миром, не приходила мне в голову.

– А что приходило? – спросил я, наблюдая, как припод-  
нимается ее подбородок.

– Мужчина в кресле, – проговорила она отрешенно, после  
некоторого раздумья. – Я захожу в комнату. Он сидит ко мне  
спиной, лицом к окну. В какой-то нелепой шерстяной кофте.  
Что-то там читает. Он не слышит, что я вошла. Я стою сзади,  
смотрю на него, жду, когда обернется. А он там занят чем-то  
своим, ничего не замечает, в себя ушел полностью. Дышит  
так ровно. Копошится смешно... – она торопливо проморга-  
ла кажущийся блеск в глазах. – Я тихо подхожу сзади, дотра-  
гиваюсь до его волос. В этот момент он понимает, что я при-  
шла, и все его копошение тут же теряет смысл, я понимаю,  
что он ждал меня и чем-то занимался, чтобы, просто, скра-  
сить время. Я беру его голову ладонями и прижимаю к себе.  
Стою, не шелохнусь. И он сидит, не шелохнется. И никаких  
слов. Вот, мой ответ тебе. Женский ответ на мужское поко-  
рение мира.

– Мое – более исполнимо? – спросил я, хотя, все показало-  
сь на редкость банальным. Возникло даже ощущение, что  
где-то слышал подобное.

– Нет. – Она покачала головой. – Твое можно исполнить,  
но к тому времени оно не будет нужно. Надеюсь. Твое –  
слишком велико, чтобы быть случайностью. Мужчина – сам

случайность, поэтому его тянет к неизбежности. Моя мечта – абсолютная удача. Стечение обстоятельств. Ее нельзя достичь усилиями или, в чем-то постоянно совершенствуясь. Это случайность. А женщина – неизбежность, тянущаяся к случайности. – «Как ловко она говорит моими словами! – подумал я. – Кто-то ее учил этому. Учил задавать бесконечные вопросы, входить в доверие, обольщать, получать информацию. В ее руках можно быть игрушкой, а можно оружием. Сколько же народу прошло через эти руки в Большую экспертизу?» – Словно в подтверждение моих мыслей, она спросила: – Что ты не терпишь в себе? – А я подумал: «Ничто не свернет тебя с пути»!

– Страх. Даже не надо думать. Я уже давно ответил на этот вопрос.

– В каком смысле?

– Бояться глупо. Страх убивает мысль. Чего бояться, если все равно умрешь. Я б сказал, это безнравственно. То есть, это вранье, а врать себе – это, все равно, что наплевать на свою жизнь. Врать кому-то... могу позволить. Бывают разные обстоятельства. Но себе – никогда. Собственно для этого и нужны мозги. В моем понимании.

– Безнравственно... – повторила она. – Как это?

– Ну, как же! – Я вспомнил свой факультатив. – Нравственное воспитание, общественные ценности...

– Это что-то религиозное. Ты занимался историей?

– Я посещал программу «мировое развитие в период про-

блемной энергетике». Очень интересно.

– До паззлов?

– Да. Мы много спорили, изменились люди или нет.

– Изменились?

– В целом, нет, но, то время отличали некоторые характерные понятия.

– Например?

– Собственность, брак...

– Что ты об этом думаешь?

– Брак – сложная норма. Способ общественного взаимоприкрепления мужчины и женщины. С одной стороны скреплялась их собственность, с другой – декларировался запрет иметь отношения с кем-то еще.

– И люди жили и действительно ни с кем не общались?

– Не знаю. Может быть, и общались, но без секса.

– Как такое возможно? Они не смотрели друг другу в глаза? Где заканчивалось допустимое общение, и начинался секс?

– Помню, мы посвятили этому целое занятие.

– И к чему пришли?

– Решили, что недопустимый секс начинался с прикосновений, в которые вкладывался конкретный смысл.

– А если я хотела, просто, взять за руку или обнять от радости? А если физически совокупиться? То есть, получается, оправдать безликий секс в браке нельзя, а скрыть потребность в другом человеке можно?

– Не знаю. Каждый, наверно, сам решал, – сдался я. – Считалось, дети должны воспитываться в браке. Люди жили вместе! И спали в одной кровати.

– Каждый день? – спросила она, по-видимому, пытаясь представить себя замужем.

– Каждый день, – подтвердил я.

– И дети не превращались в идиотов? – Вот, вопрос! Я пожал плечами. В конце концов, мы – дети тех детей.

– Общество борьбы за влияние, – сообщил я свой любимый тезис. – Поэтому, его отличала повышенная заформализованность. Прикрывшись правилами, можно избежать любой ответственности.

– А если родители не симбиотики? – продолжала она, не слушая.

– Судя по количеству браков, само собой, не симбиотики, – подтвердил я. – В большинстве. Не было такого понятия. И потом, никто ж не заставлял.

– Как же по-твоему они выращивали нормальных детей? – не унималась она. – У них были интернаты?

– Размножались они хорошо, – сказал я то, что знал. – Про интернаты – не думаю. Дети росли преимущественно с родителями. Супругами, – добавил я. – Кстати, дети имели и социальные причины. Нет детей – вроде, ты недочеловек. Социальная мода.

– Но, если супруги – не симбиотики, то что?

– Ну, размножались же, – успокоил я. – В отличие от нас.

Это мы вымираем, а они прекрасно себя чувствовали. Кто их знает? Может, они были сексуальными симбиотиками или еще какими-то. Частичными. Наверняка были. – Мне не нравится эта тема! – Общество больше стеснялось секса, а не очевидных инструментов влияния.

– Чего они стеснялись?

– Письки! Все дело в письках. Они – камень преткновения. Брать за руку, обнимать от радости, – передразнил я, – вращать горящими глазами. Все можно оправдать, пока в ход не пошли письки. Появилась писька – браку конец. Супруги не могли интересоваться письками окружающих.

– А, вот в чем дело! – сказала она. – А если мужчина мне симпатичен и приятно его общество?

– Считалось, замужем только супруг симпатичен и приятен своим обществом. Это тоже называлось нравственным.

– Господи! – воскликнула она, снова откидываясь на спинку кресла, – какое счастье, что мы живем в безнравственном мире!

– Я тоже считаю, нам повезло.

– Наверно, это было очень оседлое общество...

– Без сомнения, – согласился я. – С очень коротким горизонтом.

– Как же у них все не развалилось...

– Черт их знает. Как-то выжили. Кстати, то время, было наполнено ожиданиями конца света – массовое искусство любило обыгрывать варианты. Например, деформация кли-

мата из-за человеческой деятельности. Все равно, как сейчас – деформация орбиты из-за переизбытка паззлов. Социальные страхи. Это к разговору о безнравственности общества. А раньше еще существовал культ могил! Люди так боялись смерти, что приходили на них повиниться перед мертвыми, что еще живы. Вымолить прощения за то, что родились позже.

– Не понимаю.

– Кладбище – территория, где закапывали в землю трупы родственников, а потом приходили туда вспоминать их.

– Почему именно там?

– Бессмысленный культ. Вина, смешавшаяся со страхом не получить при жизни положенной любви. Как будто родственники чем-то лучше других.

– Где можно разместить такое количество умерших?

– Не знаю. Наверно, на каких-то специальных территориях. Потом они зарастали, появлялись новые. Мертвые вытесняли друг друга в беспамятство, как живые – в безнадежность: места всем хватит. Новые памятники вместо старых. Ничего не значащие цифры дат. Как будто в них и есть смысл прожитого. Памятники собственному убожеству. Я думаю, они служили неким социальным оправданием.

– Жуть, – сказала она. – Поклонение мертвым – очень жизнеутверждающе. А просто памяти было недостаточно?

– Видимо, нет. Ее нельзя предъявить общественности, а тогда многое делалось на публику. Воткнул крест в мо-

гилу – глядишь, усреднился со всеми в своем страхе перед смертью. Сходил на кладбище – вымолил к себе лучшее отношение. Только не понятно, у кого. Глупая вина и такой же глупый страх... Страх окончания жизни или конца света.

– Конец света... – повторила она. – Как ты себе это представляешь? – Честно говоря, мне совсем не хотелось думать об этом.

– В детстве, – традиционно начал я, пытаюсь сосредоточиться на чем-то хорошем, – мы с мамой каждое лето ездили в Сен-Хунгер. Весь смысл моей детской жизни укладывался в эти поездки. Мы жили в крошечном сарае с одним окошком над моей кроватью. Туда помещался маленький кусочек неба. Иногда, довольно редко, в него светила Луна. В основном, звезды.

– У тебя была любимая?

– Да! – ответил я с удовольствием. – Альфа Лиры. Окошко выходило на восток, она появлялась в нем регулярно. Но иногда ночи были совсем темными. Особенно в августе и в плохую погоду. Ни Луны, ни звезд. Тогда сарай погружался в полную темень... в абсолютную черноту. Я лежал в кровати, открывал, закрывал глаза – никакой разницы. Пытался привыкнуть к темноте, но, даже со временем ничего не мог различить. Помню, решил попробовать спать с открытыми глазами. Не вышло, хотя я долго пытался. Глаза все равно закрывались. Мне очень нравилось лежать в черноте. Казалось, вот она, абсолютная свобода. Всякий раз, понимая это,

я сразу засыпал. Короткие, но незабываемые моменты.

– По-твоему, конец света – это абсолютная чернота?

– Почему нет? Правда, в той детской черноте меня наполняло ожидание нового дня. Но, ведь, любой конец – начало чего-то нового. Начало нового порядка, нового потока необратимости. Свет – источник неизбежности и присущей ей порядка. Конец света – конец неизбежности. Там, где ее нет, есть только случайность. Она и есть – время. Время в чистом виде. Там, в черноте, мне казалось, я нахожусь вне пространства, в одном только времени. Оно шло очень быстро, практически незаметно. Наверно, так и в конце света – останется только время. Затем в этой чистой случайности почему-то возникнет крупица порядка. Крохотный островок неизбежности. Время начнет замедляться, поделившись собою с возникающим пространством. Наверно, так родилась Вселенная.

– Никогда не думала об этом, – сказала она, отвлекаясь куда-то в сторону. – Интересно, как это... быть в абсолютной черноте?.. По-твоему это так выглядит? – Окна помутнели, затем постепенно перестали пропускать свет. Стало действительно темно. Особенно с непривычки. Мы сидели неподвижно. В темноте всегда хочется, чтобы было тихо.

– Ты еще здесь? – спросил я.

– Да, – ответила она. Я протянул руку вперед и наткнулся на ее ищущие в темноте пальцы. Ощущение полной слепоты рассеялось фантастической иллюзией видимости отдель-

ных молекул. С минуту наши пальцы изучали друг друга, потом сошлись кисти и обняли друг друга за запястья. Не расцепляя рук, непостижимо быстро мы оказались рядом где-то в районе чернеющего окна. Животная магия чужого человека стремительно набрала в крошечной тьме власть. Вдыхая смешивающийся воздух, мы соприкоснулись лицами. Клокочущее чувство еще одного шага близости. Ровное дыхание ее поющего тела слегка успокоило меня. Как будто встретились два уникальных животных, способных удачно спариться раз в сто лет. Трепет стих, растворившись в настоящем. Руки сами собой, осторожно, но требовательно заскользили по телу, переплетаясь как змеи, безошибочно находя, где скрыться. Когда в ответ на ее высвобождающее рукопожатие мои пальцы стянуло теплом, мы замерли и прислушались к дыханию. Его почти не было слышно. – Наверно, лучше уже не будет, – произнесла она с некоторой долей уверенности. Это было давно, но и тогда я сумел понять – ее стоит послушать. Хоть, весь разговор был вообще непонятно, о чем. Еще я понял – от меня, безусловно, чего-то ждут. Наверно, я начал оправдывать ожидания, потому что дела пошли на лад. Вскоре я получил сертификат – месяц и не остановился на достигнутом. Потом прошла еще целая пропасть времени, случилась беседа с Олле, и для меня нашлось занятие! Почему же так долго? Надо было спросить. Может, вернуться? Лестница закончилась. Мне показалось, я спустился очень быстро. Наверно, шел столько же, сколько проси-

дел на этом когда-то выброшенном на берег дереве. Эксперт измеряет время количеством пришедших в голову мыслей, а не тиканьем часов. Так оно быстрее проходит. Шланг, наверно, выгнал бы за эту идею. Он бы сказал: «Время идет, потому что приходят мысли, а не наоборот. Люди хотят путать причины и следствия, потому что слишком горды!» Нет, минуточку. Он бы так, конечно, не сказал. Я встал и подошел к воде. Как это здорово! Наконец-то мне не стыдно за себя. Непередаваемое ощущение, когда находишься в начале чего-то неизмеримо важного и неизбежного. Можно пустить в кровь это сладкое чувство и крутить его по венам, пока не надоеет, оставаясь в дымке легкого помешательства. Задания еще нет, но зато есть уверенность в том, что оно будет. Есть место, где я выполню его. Нет никого, кто сможет помешать или хотя бы нарушить концентрацию. Я готов к первой настоящей Большой экспертизе в своей жизни. Как долго я шел к этому! Наконец-то, я могу спокойно смотреть на отражение в воде, и оно не задает никаких вопросов. Я обернулся и посмотрел на маяк. Рядом едва виднеется времянка со шлюзом. Крошечная пристройка с круглым окошком возле огромной красно-белой колонны, возвышающейся над лесом. Когда-то в этих краях было развито судоходство, каждый остров имел свой маяк и своего маячника. Маяк нужно было обслуживать, вовремя зажигать лампу, чистить линзу. Маячник, как правило, жил один. Это был человек с историей, благодаря которой уже не стоило торопиться и думать

о большой земле. Сейчас бы сказали – симбиотик острова. Он зависел только от еженедельного баркаса с провиантом. Быть может, тоже любил сидеть на берегу и смотреть вдаль. И только баркас мешал ощутить полную свободу, независимость от внешнего мира. Мне проще. Конечно, я завишу от паззлов, но лишь в той же степени, сколь и от воздуха вокруг. Мне не нужны сложные продукты, я потребляю только простоту. Мои цепочки спланированы на год вперед, поэтому почти не влияют на баланс. Я могу получать такой сервис на значительном удалении от материнского плато. Здесь – немного другая ситуация: в работе я на балансе Олле. Но что это меняет? Мне ничего не нужно. У меня есть мои любимые индийские тряпки, в которые я заворачиваюсь ночью, кофр с басом стоит у стенки на случай недостатка эмоций. Надо проверить проектор на верхушке маяка, убедиться, что с ним все в порядке. Я направился в сторону времянки. Люблю позднюю весну. Потому что она – начало. Впереди лето. Быть свободным весной – особое счастье. Я долго ждал этого. Пора перестать вычерпывать себя. Теперь надо попроще. Я снова повернулся к воде и заорал во всю глотку. Фантастика. Теперь я маячник. Может, сразу туда? Я быстро пробежал по старым лестницам. Нет лифта – значит, все в порядке. Здесь гораздо ветреннее, чем внизу. Я стою и смотрю, как подо мной синхронно качаются сосны. Внезапный порыв ветра несет мелкий песок вдоль кромки воды. Где-то у самого горизонта едва различимо виднеется материк. Навер-

ное, там волны. Солнце стоит над лесом. В дымке над морем можно разглядеть эшелонированные цепочки обмена. Паззлы поблескивают в небе как рыбки в воде, только двигаются очень стройно: нижние – усыпляюще медленно, верхние, насколько позволяет зрение, стремительно и очень плотно. Части цепочек, меняя высоты, поворачивают к материку. Видеть небо, свободное от паззлов, над головой – непривычно. Жизнь в городе накладывает отпечаток – наверху всегда интенсивное движение. Кажется, в один прекрасный день паззлы остановятся и начнут сыпаться на голову, как это было лет пятьдесят назад, когда их использование только-только ставилось на поток. Из-за аварии, повлекшей отказ орбитальных рассеивателей, несколько миллионов паззлов, в том числе несколько десятков тысяч крупных образований, остановились и в один миг рухнули на землю. Большинство, конечно же, упало в воду или на малозаселенных территориях вдоль своих трасс, но паззлы, достигшие жилых зон, практически добравшиеся до адресатов или, наоборот, только отправившиеся в путь, металлическим градом побили множество городов. Даже элементарный паззл, рухнувший с высоты нескольких метров, скорее всего убьет, если попадет точно в голову. Что, уж, говорить о быстрых паззлах, тем более, склеенных, несущихся на высоте нескольких километров. Некоторые из них долетели до цели уже по баллистическим траекториям. Когда рассеиватели отказали, тропосферные паззлы, падая, начали бить молниями друг в дру-

га, низкие – в землю. Тысячи молний одновременно, грохот, неразбериха. Возможно, так мог выглядеть конец света. Это происшествие вошло в историю, как Металлическая гроза. Теперь, когда пазлов десятки миллиардов, сложно представить, что все они упадут из-за похожего дефекта. Из аварии были сделаны правильные выводы. Мама что-то рассказывала о том, как тушились пожары, разбирались завалы, как помятые, поплавившиеся пазлы выносили на открытые места, и как еще долгое время она с опаской поглядывала наверх. Сейчас траектории цепочек самоорганизуются по современным алгоритмам. Это означает, что в любой момент времени при падении они нанесут минимальный вред. Также объявлено, что проблема возникновения электронных лавин решена. Гроза такой силы больше не повторится. Пазлы больше не будут падать на выжженную землю. Поэтому остается только любоваться ими. Я посвятил анализу структурирования цепочек обмена достаточно времени. Надеюсь, мои отчеты и исправленные ошибки добавили безопасности в этот кишащий металлический мир. За это время они стали моей частью. Я считаю систему идеальной. Если можно достичь в чем-то идеала, то вот оно, перед нами – идеальная практическая реализация эффекта Маркова, приведшая к закату эпохи «проблемной энергетики». Когда-то логистика действительно была придатком производства, а не наоборот, перевозки – серьезной составляющей цены, а процветание регулятора обеспечивали ресурсы. Несмотря на усердное по-

сещение курсов, мне сложно представить мир, где во взаимоотношениях существует посреднический материал в виде денег, а территориальные цели весьма завуалированы и закреплены юридической нормой собственности, а не соответствующей глубиной обеспечения. Выходит, что при наличии большого количества денег сервис переставал быть проблемой. К чему тогда странное понятие собственности? Почему надо было ее охранять, если можно было легко восполнить? Потому что там был дом? Но если деньги позволяют жить на любой территории, зачем прикрепляться к одному месту? Если для полноты жизни необходимо получить территорию в собственность, сколько же этих денег надо иметь, чтобы спокойно чувствовать себя, например, в Африке? Кто-нибудь мог купить на время целый материк? Я об этом не слышал. На что жили люди, не задействованные в развитых секторах? Как они кормили себя? Мне не представить мир без пазлов, где все свое надо носить с собой. Наверно, в этом и есть причина беспросветной оседлости того общества. В общем, осталось много неясного с тех пор, как я виделся с нашей лекторшей в последний раз. Не знаю, занимается ли она еще той проблематикой. А то бы обязательно спросил. Наверно, она что-то путала, недаром некоторые вопросы вызывали у нее гнев. А гнев, это в частности, гордыня, уличенная в незнании – хороший индикатор недопонимания. С высоты маяка и пролетевшего времени все это показалось далеким и малозначащим. Я встал на цы-

почки и с интересом оглядел прикрепленный к стенке проектор. Потом повернулся лицом к морю, представляя, как иногда буду смотреть отсюда футбол. Вода идеально подходит для динамического проецирования. Интересно, на какой трибуне я окажусь, оставшись на маяке? Где-то в районе второго яруса. Ворота в районе третьей мели. Я смогу сплавать туда, если решу понаблюдать происходящее из вратарской. Раньше я смотрел проекцию футбола в натуральную величину только на стадионе. Вместе со всеми. Не думал, что когда-нибудь смогу повторить это в одиночку. Добавлю трибуны и окажусь единственным реально присутствующим среди виртуальных тысяч. Сегодня никто не играет – подождем воскресенья. Я сбежал по ступенькам вниз во времяанку и достал из кофра бас. Затем, перекидывая ремень через плечо, вышел на берег. Ветра нет, инструмент не занесет песком. Глядя на маяк, я осторожно дернул верхнюю струну. Пока не звучит. Какое это удовольствие – прикоснуться пальцами к струнам. Новый проектор – надо поднастроить звук. Никогда не играл на таком хорошем объеме. Наверно, смогу раскачать целый остров! Порттик на руке показал, что увидел и бас, и проектор на маяке. Дрожь предвкушения пробежала по телу, я снова осторожно дернул струну. Воздух наполнился звуком. Испуганные чайки поднялись в воздух, стая мелких птиц заметалась над соснами. Я расстегнул ремешок портика. Настроить звук можно только двумя руками. Люблю абсолютную чистоту. Проектор оказался дей-

ствительно хорош. Олле молодец, никогда не подсунет халтуры. Как же будут звучать трибуны?! Портик аккуратно положен на дерево. Вообще-то, снимать его не совсем рационально... Пальцы забегали по струнам. О-о, я обязательно сыграю здесь несколько концертов. Подпою Роберту, подыграю Сезарии. И все это на глазах у беснующейся толпы. Наконец-то, сбудется моя мечта. Жаль, все это не более чем иллюзии. Но мои эмоции – не иллюзия. Неизбежность не может быть иллюзией. Я так живу. Раньше я делал это в маленьком помещении, теперь у меня целый остров с широким берегом и бескрайним морем. На футболе – берег для зрителей, на концерте – для сцены. Даже слегка закружилась голова от предвкушения. Иллюзии особенно хороши, если они полномасштабны. Добившись желаемого звука, я нацепил портик обратно на руку и продолжил тихонько поигрывать. Жаль, не смогу воспользоваться им, чтобы поделиться радостью с Кристиной и Лизой. Но отсутствие связи – моя скромная плата за удовольствие. Чем-то нужно жертвовать, когда жизнь делает еще один шаг вперед. Пальцы забегали увереннее. Я давно не играл! Все ковырялся в себе и думал, что не так. Забросил бас в дальний угол. Ну, теперь-то все так! Я бог этого мира! Я могу все!! В голове заискрило, я повернулся лицом к морю и перешел на отрывистые удары по струнам большим пальцем. Это совсем другие звуки. Я обожаю их. Все птицы улетели. Достреляв импровизацию, я взял несколько флажолетов и долго слушал, как необычайно

высокие ноты вибрируют вокруг, отражаясь от сосен и маяка. Непередаваемо. Еще парочку. И финал! Громче!! Порттик еле заметно моргнул. Не-ет. Грязновато. Я сделал потише и, присев на дерево, положил гитару на колено. Потом перестал играть и долго гладил гриф. Вообще-то, я не большой мастер игры. Так... кое-что умею. Бас отлично подходит как фон для раздумий. Низы колышут воздух и кажется, благодаря им, в голову приходят более важные мысли. Как хорошо, что сейчас в них нет нужды, и я могу отдыхать. Эти постоянные мысли, постоянное отвлечение от реального мира ради постижения чего-то нового... как же я устал от этих бесконечных цепочек обмена. Притом, что надо охватить всего год. А что делает тот, кому нужно держать в голове лет десять? Наверно, со мной по-прежнему что-то не так. Я перестал гладить гриф и накрыл струны ладонью. Внезапно стало неприятно. Я так и не увиделся с Кристиной перед отъездом, и, вот, теперь сижу на острове с гитарой в руках, готовлюсь к участию в масштабных мероприятиях. Что делать, если я эксперт? Неужели наша встреча была ошибкой? Чепуха. Просто, прошло очень много времени. Если бы мы были полными симбиотиками, Кристина бы пела, а я играл. Но у нас нет ничего общего в музыке. Кристина вообще не переваривает классику. Мой инструмент она называет антиквариатом. Но мне не стыдно за него. Он пережил века и доказал свою незаменимость по сути. Я могу качать им воздух. У меня характерные мозоли на пальцах

обеих рук. Такие мозоли могут быть только у басистов, потому что наши струны – самые толстые. Наши пальцы самые мягкие. Наши мизинцы – самые сильные. Мы – высшее сословие музыкантов, редко имеющих имена. Я представил себе джазовую певичку, идущую вдоль берега и мурлыкающую что-то себе под нос, оттолкнувшись от моего скромного аккомпанемента. Я не смотрю на нее, а продолжаю играть, все глубже погружаясь в себя. Она делает свою работу, я свою. Она известна на весь мир, а я известен только ей и узкому кругу лиц. Я незаменим до тех пор, пока играю так, как она хочет. Таких как я тысячи. Просто, мне повезло быть рядом с нею. В обойме. Рядом с нею я могу быть особенно хорош, ведь у меня будет аудитория. Ее аудитория. Я представлю, что она моя, и – нет проблем. Но, в действительности, нет никакой джазовой певички, она не идет по берегу, а я аккомпанирую сам себе. Зато есть Олле. Он не имеет отношения к музыке, зато имеет – к цепочкам обмена. В какой-то мере то, что я делаю для него, тоже можно назвать аккомпанементом. Годовой сертификат – не так уж плохо. Это, как если бы я играл для нескольких тысяч зрителей. В конце концов, кто знает, с какими сложностями я бы столкнулся, будь профессиональным музыкантом. Я слышал, у них случаются проблемы. Может, и хорошо, что для меня это всего лишь хобби? Я не испытываю мук творчества, могу выбирать, когда играть и с кем. Определенно, хорошо. Не стоит думать об этом. Опустошение – потому, что начинается новая гла-

ва. Все, что было «до», остается в прошлом, а новое пишется, начиная с этого острова. Я придумал его по образцу Сен-Хунгера. Там тоже был маяк, в такую же красно-белую полосу. Не такой высокий, раза в два ниже, но очень похожий. Выцветший на солнце, с неработающей лампой. Зачем пазлам маяк? Они позиционируются с орбиты. Маяки... они из того времени, когда люди больше ждали и меньше искали. Этому сопутствует страх. А я не боюсь, потому что мне повезло родиться в другом времени. Когда-то на этом же берегу жил настоящий маячник. Возможно, он тоже был музыкантом, может быть, даже басистом. Он имел реальные шансы увидеть живьем тех людей, музыку которых я так люблю играть. Людей того золотого времени. Они появились внезапно, почти сразу после окончания очередной войны. Это было очень неплохое время, несмотря на «проблемную энергетику». Они спели свои лучшие песни, сыграли лучшие концерты. Кто-то умер, так и не дожив до старости. Роберт дожил, стал играть совсем другую музыку. Перейдя в новый век, многие старички продолжали трудиться с удвоенным энтузиазмом. Я обязательно поиграю с ними. А сейчас мне надо принять пазл с обедом. Нельзя отклоняться от режима дня. Утром после легкого завтрака – бег. В любую погоду. Надо посмотреть, сколько уйдет времени, чтобы вернуться в исходную точку. Можно ли обежать остров вокруг, позволяет ли береговая линия? Затем работа, затем обед. Послеобеденный отдых – час. Снова полное погружение. Ужин.

И, наконец, вечернее помешательство со звездами и Луной. Оступишься раз – работа остановится. Осенью станет холодно и здесь будет нечего делать. Надеюсь, успею до осени. Четыре месяца? Похоже, Олле так и сказал. Расскажу Кристине с Лизой, как весело провел время. Похвастаюсь новым сертификатом. Хотя, что им до него. Вот, если бы привезти их сюда... Я снова огляделся. «И что здесь делать? – воскликнет Лиза, осматриваясь. – Как ты проторчал здесь четыре месяца и не умер от тоски?» – «Папа любит такие штуки, – скажет Кристина, дернув бровью. – Купаться?!» Кристина любит купаться в ледяной воде. В этих широтах в сентябре будет именно так. Раньше я составил бы ей компанию, теперь – вряд ли. Почему? Опять мне стало немного тоскливо. Вроде, все – как мечтал, но чего-то не хватает. Я сморщил лицо и посмотрел на маяк. Глядя на маяк, обретаешь уверенность. Наверно, их строили и за этим. В воздухе блеснул снижающийся пазл. «Вот и мое мясо с кровью, – подумал я, торопясь отнести бас во времянку. В голове эхом отозвалась недавняя мысль: – Теперь надо попроще!»

# Экстремум

Супрем известен в широких кругах, как автор полотна «Искажение любви». На нем изображены три фигуры. Ритм картины замедляется сверху вниз. Фигура молодого человека напоминает сжавшуюся в фантазмагорической судороге живую пружину, готовую в решающий момент распрямиться со всей внутренней энергией. Двое снизу, удерживающие его в полуполете, делают это как будто в праздности, одновременно смущаясь и гордясь, однако ни в коей степени не разжимая хватку. Лицо матери источает благодущие, и, глядя в него, сначала не возникает ни малейших сомнений в ее кажущейся правоте, если не заметить натянутую до предела кожу на кисти, сжимающей как в железных тисках выскользывающую ступню рвущегося вверх юноши. Натянутую так, будто костяшки пальцев сейчас порвут ее изнутри. Ее глаза полузакрыты в блаженном неведении. Отец, расположившись напротив, одной рукой словно велит ей продолжать. Этим, цитируемым из Первого Возрождения жестом, он одновременно одобряет и потакает. Остается неясным, кто, в конечном счете, над кем властен – она над ним или он над нею. Единственное, что не вызывает сомнений, это их всепоглощающее стремление властвовать над стремящимся выскользнуть из капкана юношей.

В размышлении над смыслом всего полотна ставит точку лицо отца. Оно прорезано уродливыми морщинами вечно недовольного, но смиренного старика. В этой перманентной гримасе с отогнутыми вниз краями рта, он смотрит совсем не на мать собственного сына, а куда-то мимо нее. Где-то там, на заднем плане, среди тщательно проработанных деталей ландшафта располагается непонятная рухлядь – нечто, ради чего была прожита необъяснимая в своей непоследовательности жизнь. Если искать на картине центр притяжения, через некоторое время взгляд сам собой упирается в эту самую рухлядь. Бесформенное механическое уродство, готовое быть и домом и средством передвижения, но абсолютно точно неспособное выполнять свою функцию так, как задумано. Если хорошенько взглядеться в это нагромождение геометрических разломов, можно различить какие-то колесоподобные механизмы, гнутые блестящие или уже помутневшие паззлы, обломки непонятных устройств, больше похожих на развалины так и нереализованных фантазий, кучи бесполезного мусора заднего плана. Все это не более чем символ потерянного времени, безжалостно пронесшегося мимо, испещрившего лицо отца следами ненависти к себе, а на лице матери оставившего печать пустого, удобного самодовольного блаженства, сквозь которое она уже не способна различить хоть что-то, противоречащее ничему не значащей сути своих эмоций. Взгляды персонажей не пересекаются.

Рывок юноши настолько пронзителен, что хочется подойти и своей собственной рукой разжать кисть матери, и тут же начинает казаться, что, сделав это, получишь неожиданного последователя в лице сидящего рядом отца – он, как будто, только того и ждет, но, находясь в своей скорлупе, не может принять решение самостоятельно. Возможно, объяснение скрыто в его пустых невидящих глазах, в страхе, источаемом из глубины морщин вокруг глазниц. Непонятно, насколько устойчива его власть, быть может, стоит только тронуть за поднятое плечо, чтобы морщины дрогнули и сложились в сожаление, граничащее с осознанием неизбежной потери сына. Но речь даже не о смерти, а всего лишь о даровании свободы, признании собственного ребенка равноправной с ними личностью. У отца еще не все потеряно? Снова немой вопрос к матери. Ее лицо даже молодо. Время совсем не испортило его. Оно как будто остановилось в нем. Это лицо уже не изменится, не изменится эмоция, которое оно выражает. Эмоция, вросшая в него как маска, пустившая корни в плоть. Если смотреть на картину достаточно долго, эта женщина начинает казаться безумной. Ее безумие не помешает ей быть вменяемой и отвечать за свои поступки. Оно всего лишь отключит выбор там, где можно рассчитывать на его незримое присутствие. Отвергнув любой выбор для себя, она отрицает его и для самого дорогого. Юноша платит своею несвободой за родительскую неизбежность. Полотно потрясает тем,

что напоминает детский кошмар – цитату животного сознания, картину всепоглощающей неизбежности вокруг: неспособность и невозможность повлиять на ход событий из-за недостатка ассоциативной емкости в голове – непреодолимый тупик живого существа. Человек вырастет и избавится от кошмаров безволия. Животное проживет так всю жизнь. Однажды в детстве мне приснилось, что я нахожусь в поле. Я бегаю по его краю то в одну сторону, то в другую. Все, что я чувствую, это страх. Я не ищу варианты – перейти поле и посмотреть, что за ним, или обойти вокруг, встретить кого-нибудь или позвать на помощь. Ничего этого в моей голове еще нет, и не может быть. Я не в состоянии исправить свой сон, наполнить его деталями – только черно-белая, низкая трава на ветру, в холодном движении которого нет ни малейшего шанса на спасение от внезапного одиночества и неспособности превозмочь его силой собственного воображения. Девственный кошмар метания в пустоте, ограниченной фантазией. Сон кончился, я проснулся с ощущением тревоги. Это была самодемонстрация неизбежности. Потом я назвал ее «собачьей». Мне показалось, именно собака сильнее других чувствует страх перед неизбежностью, потому что отчасти понимает, насколько не в силах эту неизбежность превозмочь. Страх должен подтолкнуть к познанию, но только человек способен обернуть этот толчок в осмысленное действие.

Я решил, дело не только в «знании о смерти». Как оказалось, есть кое-что еще, различающее нас – способность преодолевать неизбежность. Картина Супрема изображает высокое проявление неизбежности – здесь она не животная, а вполне человеческая и оттого еще более тягостная. Кажется, Супрем закончил художественную школу. Когда Кристина познакомила нас, он еще не был известен. Я ничего не понимал в живописи, поэтому не знал, как относиться к новому знакомству. Но мне нравилась легкость – он никогда не говорил о чем-либо серьезно, даже о своих работах. «Гусиная» семья посмеивалась над каждой новой картиной, называя ее «шедевром». Супрем тоже смеялся. Не проходило ни встречи, чтобы Олле не поддел его за карандаши в обеих руках. Супрем делал наброски двумя руками почти одновременно. Я так и воспринимал это – как баловство. Я не знал, и не мог знать, что на самом деле все иначе, не мог представить Супрема, часами простаивающего перед полотном, когда в эти замершие мгновения его лицо перестает естественным образом улыбаться и приобретает задумчивые черты. Супрем начал пить задолго до того, как всерьез взял в руки кисть. Так было проще смириться с тем, что никто не хочет замечать его очевидного отличия от других. Вдобавок снимался вопрос о потребности каким-то образом развивать со всех сторон обсуждаемый талант. Однажды мы в очередной раз собрались вместе. В то время, несмотря на рождение Лизы, мнение мамы все еще

было очень важно для меня. Вместе с тем, оно незаметно отравляло жизнь. Я не думал об этом, просто чувствовал что-то неприятное. Оно толкало прочь. Супрем встал перед нами и сказал: «Вот вам немного для «поржать». С этими словами он сдернул с рамы тряпку. Под одобрителный гул и жидкие аплодисменты я сидел и моргал глазами, впившись в увиденные лица. Все то, неприятное, что сопровождало меня последнее время, неожиданно оказалось сосредоточено в одной живописной фразе. В тот вечер ржали не только над Супремом, но и над моими сдвинутыми бровями. Я похож на дурака, когда хмурюсь. С того дня я стал очень внимательно относиться к Супрему. Прямо на наших глазах «Искажение любви» внезапно прославило его. Я считаю это одним из немногих пережитых мною чудес. Только вчера он был всего лишь одним из нас, любимым чудаком небольшой компании, который всего лишь не стеснялся постоянно быть самим собой, и, вот, сегодня мы также рады его видеть, но вместе с ним видим, как в отражении, собственную несостоятельность. Слава, однако, вовсе не изменила его. Он все также улыбался всем своим лицом и не произносил ни единого слова всерьез. Конечно же, ни в малейшей степени он не пытался извлечь из славы власть, а извлекал лишь крупички признания. Оно позволяло расслабляться все сильнее, вследствие чего, привязанность к алкоголю только усиливалась. Правда, никогда нельзя было сказать с точностью, насколько

Супрем пьян. Потом он стал пропадать – признание дало возможность путешествовать, не ограничивая себя в сервисе. Ничего стоящего после «Искажения любви» он не написал. В общем-то, оно было и не нужно, свою потребность в творчестве он реализовывал в карандашных набросках, а потребность в жизни топил в алкоголе. Потом он пропал окончательно. Увлечшись работой, я постепенно забыл о нем. Но картина изменила мою жизнь. Я перестал общаться с мамой, и мне стало значительно легче. Неоформленное пониманием стремление всюду стыдиться себя ослабило хватку и начало растворяться в воздухе. Скорлупа распалась и превратилась в сероватый шлейф, который как хвост кометы еще долгое время тенью преследовал мои робкие самостоятельные шаги. Прибрежный ветер разметал его остатки окончательно. Он и раньше регулярно пытался нашептывать мне, как приятно услышать себя самого, но где уж мне прислушаться. Я был закован неизбежностью и слышал только то, что хотел услышать. Если регулярно приходиться на морской берег, рано или поздно наступит момент, когда ветер перестает дуть порывисто, а превращается в постоянное движение. Прохладный воздух несется вдоль кромки воды с неизменной скоростью, словно какая-то циклопическая машина выдувает его из своих огромных сопел. Там, где расширяется пляж, ветер подхватывает сухой песок и жалит им лицо. Шум вздымаемого песка заглушает отчаянный

шелест листвы. Деревья согнуты под невидимым нажимом и не распрямляются ни на секунду в течение нескольких дней. Шум хвои не столь трагичен, он не напоминает о том, что скоро осень, он, просто, дополняет прощальное звучание эпилога к очередному промелькнувшему лету. Вчера я что-то понял, и мне не понравились эти мысли. От таких мыслей всегда остается дурное послевкусие. Есть понимание высвобождающее, а есть понимание смирения. Оно схоже с разочарованием. Когда поток очередных надежд стреляет в голову и позволяет ощутить себя превыше обстоятельств, неизбежно наступает момент ниспровержения. Я так и не получил никакого задания. Мне не кажется, что обо мне забыли. Вообще-то, мне наплевать на причины, не хочется делать выводы, пытаться угадать, почему же, собственно, та весенняя встреча с Олле оказалась последней, и с тех пор я не видел ни одной живой души, кроме весьма отстраненного Супрема и той безумной серферши. Ясно одно – я не увижу осенью ни Лизы, ни Кристины, не смогу сообщить им, что задерживаюсь на неопределенный срок. Возможно, они знают больше меня – Олле наверняка держит их в курсе. Но почему он ничего не говорит мне? Чтобы свыкнуться с этой непростой мыслью, я заказал аварийный комбинезон. Паззлы аварийного канала доставляют желаемое прямо в руки. Это очень трогательно, когда паззл, словно живой, подлетает и поблескивает на уровне груди, а портик едва заметно покалывает запястье, вызывая сложившийся

годами условный рефлекс потребления. Когда контейнер опустошен, пазл недолго покачивается рядом. Он как будто ждет, чтобы я померил комбик и убедился в его работоспособности. Аварийный канал хорош тем, что лоялен к холостому пробегу. Действительно, в сложной ситуации было бы глупо тратить время на поиски – чем наполнить пазл в ответ. Мою ситуацию сложно назвать критической – я не истекаю кровью, не умираю от жажды, голода или холода, но комбик – одна из немногих вещей, заказ которого возможен безотносительно данных о состоянии моего организма, транслируемых портиком в центр обработки. Фактически, каждый имеет право на этот небольшой каприз без ущерба балансу сервисов. Я мог отправить в ответ кустик очитка – не сомневаюсь, где-то живут те, кому очиток, обильно произрастающий на моем острове, жизненно необходим. Или комок глауконитовой глины, которую можно собрать из обнажения в основании скалы на противоположном берегу, там, где линия леса поднимается метров на тридцать над уровнем моря. Но аварийный канал совсем не требователен. Я отпускаю пазл порожним, потому что, просто, разочарован происходящим. К тому же очиток уже не цветет, а копать в глине холодно. Может быть, портик, каким-то образом считывает состояние разочарования, и центр готов тем же каналом направить мне нечто вдохновляющее, но мне все равно, потому что пазл не может вылечить от одиночества

и сожаления по упущенному времени, какую бы посылку не содержал в себе. Я стою на песке влоборота к ветру и скованно вдыхаю его непрекращающееся движение. Мое иссушенное солнцем лицо застыло в унылой маске, мне никак не расслабить его, отчасти из-за ветра. Так длится около часа. В чем-то это похоже на поле с серой травой из детского сна – нет никакого продолжения. Отличие в том, что моя воля полностью подавлена. Я как буриданов осел, застывший не меж двух равновеликих куч сена, а между желаниями жить дальше и перестать это делать. И только самодовольство, желание и впредь наслаждаться собственным обществом, наконец, подталкивает хоть к какому-то действию. Привычным шепотом я включаю проектор и проецирую невдалеке самого себя. К сожалению, технология пока не позволяет наделить проекцию несимметричным разумом, поговорить с ней о том, о сем или поиграть в футбол. Мы можем подойти друг к другу и встретиться руками. Она не осязаема, песок несется прямо сквозь прорисованный в воздухе комбинезон. Мы можем пройти друг друга насквозь и разойтись в разные стороны относительно заданной оси симметрии. Я пробовал оба варианта – и зеркальный и осевой. Первый мне нравится меньше, он подходит для совместных прогулок, когда важно синхронно поглядывать друг на друга. Однако зеркальное отражение не дает такого внятного эффекта присутствия кого-то еще. К тому же,

с ним нельзя поздороваться за руку. Оно всегда тянет вместо правой руки левую и тем самым портит праздник кажущейся реальности. Для рукопожатия больше подходит осевая проекция. Важно, лишь, правильно совместить в пространстве руки. Будут ли когда-нибудь проекции не только независимы, но и осязаемы? Не сомневаюсь. Мы стоим и смотрим друг на друга. Комбик неплохо сидит на мне. Я похож на орбитального техника в легком скафандре, изменяющем расцветку под ландшафт. Остается только надеть капюшон и затянуть все манжеты. Я машу правой рукой. Он отвечает тем же. Когда с комбиком все ясно, я назначаю движение воображаемого зеркала в двух метрах справа. Мы прогуливаемся по берегу взад-вперед. Иллюзия прогулки вдвоем немного оживляет пейзаж. Затем я подхожу к дереву, на котором весной наблюдал за бредущим в мою сторону Олле, усаживаюсь на него и пытаюсь выставить на портике режим температуры и влажности. Порттик просит застегнуться полностью. Я вяло повинуюсь, хотя сидеть с расстегнутым воротом приятнее. Но надо проверить, как это работает – скоро станет совсем холодно, а я не планирую провести всю зиму во времянке, как бурый медведь в берлоге. Хотя, не все ли равно. Я отключаю проектор – копошащийся рядом человек начинает утомлять. Он бесполезен, как и его прообраз. Прогулка закончена. Неужели я стал скучен самому себе? В который раз ему не удастся развлечь меня

своим присутствием. Разве что, помог отражением застёжки. Приятное летнее тепло разливается внутри комбика, как будто лето никуда не уходило. Подумать только, как сильно можно замерзнуть на этом бесконечном ветру. Но я верю в лето, поэтому до сих пор он казался теплым. Супрем начал рассуждать о вере, когда осмыслил свою известность. Признание – травмирующее событие. Со знаком минус или со знаком плюс – жизнь уже никогда не будет прежней. Я никогда не пользовался такими словами как «вера» или, того хуже, «душа». На их запах, как акула на кровь, сразу являлся папа Падло. Он занимал краешек сознания и как будто ждал, что будет дальше, готовый впиться в меня с новой силой. «Если ты еще здесь.., – сказал я однажды, будучи уверенным в этом, – мы как-то уже договорились, что страх – всего лишь ожидание боли. У боли есть обратная сторона, такая же материальная и телесная, но со знаком плюс. Это наслаждение. Ты согласен? – Конечно же, он молчал. Он вообще теперь мало говорил. – Оно, как и боль, может быть слабым и сильным, простым и сложным, невнятным и очевидным... понятно излагаю? – В ответ все та же задумчивая улыбка. Улыбка человека, который как будто знает больше меня и до тех пор чувствует превосходство. Хранитель вечных секретов. – Мы существуем между ожиданием боли и ожиданием наслаждения. Между страхом и вдохновением. Ты можешь вдохновляться по разным причинам, но в действительности,

все, что тебе необходимо в эту секунду – понять, сколько ты готов ждать, каков горизонт. Ты склонен называть верой любое вдохновение, горизонт которого не в состоянии различить. Тебя будоражит собственная значимость, когда твой взгляд устремляется в такие дали. Тогда ты придумываешь ничего не значащие слова. Они нужны тебе, чтобы выделить свое положение. Кажется, что ты веруешь, а на самом деле, всего лишь ждешь. Но ты болван не поэтому – ждут все – ты думаешь, что ждешь лучше всех!» Папа Падло всегда удаляется молча, если я доволен тем, что сказал. Но стоит изменить себе, наврать или засомневаться, он тут как тут, является на запах слабости и ждет удобного момента, чтобы заполнить пространство своими вкрадчивыми выступлениями. На этот раз его молчание долго преследовало меня. Я знал, что он где-то здесь. Наверно, «вера» – его большая мозоль. «Нет, – сказал он, наконец, – вера это не ожидание, и вдохновение это не ожидание. Предвкушение – может быть. Неизбежность действительно лежит между страхом и предвкушением. Но вера и вдохновение ломают эти рамки, и ты начинаешь наслаждаться настоящим. Можешь называть это необратимостью. Если тебе так хочется». – «Ладно, черт с тобой» – прошептал я. Сегодня он был не столь снисходителен, и мне не захотелось спорить. Супрем тоже использовал слово «вера», но я никогда не спорил, особенно, после «Искажения любви». Пусть верит во что угодно, если

оно помогает создавать такие полотна. Еще он походил на папу Падло умением давать бесполезные советы. Благо, делал это с безразличием в голосе, а не обволакивая вниманием и любовью. «Что мне делать?!» – взмолился я, когда однажды утром понял, что не могу больше видеть этот остров. «Жди», – равнодушно ответил Супрем. – «Да пошел ты!» – воскликнул я. Какая удивительная способность полностью игнорировать собеседника, не прекращая с ним общаться. На самом деле Супрем был целиком сосредоточен на новой картине. Сначала я не понял, что он продолжает писать, а не только пьет. Признаться, первое время мне было вообще не до него. Вдохновленный, я отправился вдоль берега изучать новую среду обитания. Не так-то просто принять идею, что ты совершенно один. К вечеру я перестал осматриваться при любом новом звуке и оглядываться за спину. Мне захотелось полностью обойти остров вдоль кромки воды в первое же утро, но где-то на полпути я совсем устал и понял, что лучше будет развернуться. Там, где остался маяк со временкой, пляж был наиболее широк. Затем берег медленно поднимался, превращаясь в узкую полосу песка у воды, тут же плавно переходящую в стену осадочной породы. С противоположной стороны от маяка она становилась неприступной – гладкая слоистая скала с пластом зеленой глины в основании. Из него сочились вода. Где-то там наверху шумели береговые сосны. Пропуская через себя этот шум, я, как мог, отдохнул и отправился

в обратный путь. Солнце клонилось к закату. В эту ночь было никак не заснуть. Я отогрелся и помылся в шлюзе, затемнил круглое окошко, устроился на мате и завернулся в свои тряпки. И, хотя, все это уже когда-то происходило и с тех пор все настойчивее требовало повторения, я не почувствовал в повторении ни крупицы счастья. Я опять, как когда-то, попробовал заснуть с открытыми глазами, и опять убедился, что это невозможно. Тогда я попробовал с закрытыми. На этот раз не получилось и так. Пару часов поворочавшись, я понял, что сон не придет, и, одевшись, вышел. Стемнело. Я посмотрел на небо. Орел летел навстречу Лебедю, а я все искал и искал Лиру, совсем позабыв, как она выглядит и в какой стороне искать. Тогда я полез на маяк. Было немного страшно. Наверху ветер дул еще сильнее, часть Млечного Пути закрыли стремительно летящие облака. Включив проектор и покопавшись в портике, я спроецировал на небо названия созвездий и крупных звезд. Мимо пролетал Юпитер. Скоро в непосредственной близости от Венеры, его попытается закрыть собою Марс. Наверно, это редкое событие. Лира нашлась. Мне стало обидно, что я не смог отыскать ее сам. Захотелось, чтобы Кристина увидела это. Я смотрел на звезды, пока не замерз окончательно, но никак не мог оторваться. Мысли о Кристине немного согрели меня. Когда начали стучать зубы, цепляясь одеревеневшими пальцами за поручни, я спустился вниз и, бегом нырнув в теплый

шлюз, разогрел его так, что по телу заструился пот. Только тогда удалось, наконец, погрузиться в сон. Теперь, когда у меня есть комбик, можно попробовать спать на улице. Главное, найти подходящее место. Давно бы заказал его, но было такое теплое лето! Мне сразу вспомнилась перепачканная красками майка Супрема. Наверно, ему тоже скоро понадобится комбинезон, если, конечно, он думает вернуться. Я сидел на дереве и смотрел на покрытое ветреной рябью море. Когда ветер дует вдоль берега, волн может и не быть – вода кажется особенно беспокойной, даже суетливой. Это осенняя суета – мне она не очень нравится. Хотя, казалось, недавно, когда мысли о том, что я всеми забыт и никому не нужен, особенно одолели, я вообще решил умереть. Мне показалось, что смерть сама придет ко мне, что она уже давно наблюдает неподалеку и решает, когда лучше воспользоваться своим неоспоримым правом. Я не собирался прыгать с маяка, топиться или втыкать в тело острые предметы, а подумал, что нежелания жить и так вполне достаточно – я, просто, вечером лягу спать, а утром не проснусь. С этой мыслью оказалось на удивление легко засыпать. Однако ничего не получалось. По утрам я исправно просыпался, и от этого становилось все более паршиво. Однажды, так и не умерев в течение недели, я пролежал целый день во времянке в абсолютном безволии. Разве что слюна не текла из моего расслабленного рта. Я ничего не ел, не пил, у меня не было желания что-либо

делать и даже подняться с мата. В те редкие минуты, когда, казалось, вот-вот поднимусь, вопрос «зачем» бил, словно молотком по затылку, и я лежал дальше, не шевелясь, представляя, как мои скукоженные останки укладывают в специальный пазл, который затем взмывает ввысь, чтобы превратить их в пыль и развеять в тропосфере. Затем, вечерний голод заставил встать. «Хоть что-то заставляет жить», – подумал я. Это «что-то» было выше моего осознанного желания умереть прямо сейчас. Лучше умирать сытым, чем голодным. Я спешно засунул в случайник большой кусок мяса с рисом. Закусывая дымящуюся еду огурцом, я подумал: «Не-е, чепуха... жить хорошо». Эта идея очень вдохновила меня. Для ее подкрепления я решил напиться вместе с Супремом. Только бы не думать больше о смерти! Но был уже вечер, стемнело, шагать по острову совсем не хотелось, даже ради такого события. Я решил отложить этот план, взял бас и вышел на берег. В темноте его звучание казалось особенно чистым. Пальцы сами нашли, что делать. В ту ночь я написал «Портрет Кристины», невольно своею скромной цитатой отослав привет в то прошлое, где такая музыка только начала появляться. Я представил, что если Супрем еще на острове, то он определенно слышит, как я играю и в этой игре нахожу то, что не могу найти в жизни. Ему должно быть приятно. Если, конечно, он не собирался всю ночь спать. На утро я понял, что вчера дошел до самой нижней точки

падения. Наверно, это мой предел. Я, буквально, стукнулся об собственное дно и, ударившись, в ужасе отскочил от него. Как можно довести себя до такого состояния? Мне опять захотелось поделиться своими переживаниями с Супремом, и я все же отправился на его поиски, однако, еще недавно заваленный бутылками «сад камней» был тщательно убран и абсолютно пуст. Никаких следов не осталось. Мне снова стало одиноко, но, несмотря на это, отчаяние уже не смогло овладеть мною полностью. В тот день я начал бегать вокруг острова. Как только чувствовал плохие мысли – сразу отправлялся бежать. Сначала бежалось плохо – апатия превратила тело в мешок с костями. Потом получалось все лучше. Ближе к осени то, что когда-то казалось марафоном, превратилось в обычное дело. Я исполнял его каждый день в одно и то же время, в любую погоду. Только это и было со мной, и согревало меня. Три часа и восемь с половиной минут. Мне хотелось, чтобы это было так. В конце концов, здесь устанавливаю правила я. Еще мне хотелось трудностей, таких, чтобы в конце дистанции не возникало сомнений в не напрасно потраченном времени. И они пришли. Не то, что бы я совсем не видел дождей. Дожди ловили меня в разных местах, но все это были какие-то несерьезные, теплые, летние дожди. С ними бежалось еще легче, вдобавок я не тратил времени на купания. Тучи проносились мимо острова к материку как неторопливые гигантские паззлы, затем сразу выходило солнце и, спустя

час с небольшим, не оставляло на песке мокрых следов. Но однажды я понял, что легкие времена закончились. Дождь шел всю ночь с небольшими перерывами. Ветер усиливался. Уже неделю, как над морем стали ходить кучевые облака. Я знал, что кончится потопом. Утром дождь немного стих. Затем настала минута старта. Я вышел на почти полностью затопленный берег. Ночью начался прилив. Все вокруг было серое, цвета ртути. Небо, вода, морозящий дождь, неразличимый горизонт. «Отлично, – подумал я, – вот теперь-то и посмотрим...» Холодные капли жалили тело со всех сторон, но я быстро перестал замечать их. Сначала было холодно. Минут через двадцать, несмотря на желание трудностей, мне показалось, что было бы очень неплохо, если б вдруг, сквозь какую-то неожиданную трещину в серой скорлупе появилось солнце и немного оживило картину. Но оно не появилось. Напротив, дождь превратился в ливень, а ветер усилился. Вода стояла стеной, я не мог различить куда бегу. Ветер дул со всех сторон. Несколько раз я чуть не падал от его порывов. Когда берег начал сужаться, обнаружилось, что теперь придется бежать по воде. Поднявшиеся волны сбивали с ног. Они обрушивались на возвышающийся берег и, откатываясь обратно в море, увлекали за собой с еще большей силой, нежели били сначала. Бег прекратился. Я продолжал двигаться вперед, борясь со стихией, выбираясь из бурлящих вод и снова погружаясь в них. Временами

лес надо мною сгибалось в пополам, обрывки сосновых веток проносились мимо как живые плети, иногда чиркая по лицу и телу. Я думал только о том, как не утонуть, не разбить ноги о камни, иногда попадающиеся в воде и достичь половины пути, ведь, постепенно я окажусь с подветренной стороны, и станет немного легче. Еще мне казалось, что там я увижу Супрема. Наверно, он воплощал собою мысль об укрытии, но я не разрешал себе думать дальше, чем, просто, о нем. Мне не нужно укрытие. Это означало бы поражение и перечеркнуло все, что я успел пробежать раньше. Потом ветер немного ослаб. Или я привык, или берег стал немного шире? Я снова попробовал бежать. Увы, это уже не походило на бег, скорее, на некое шаткое продвижение вперед отрешенной трусцой. Так мучительно я достиг противоположной точки острова. Там я остановился и некоторое время пытался смотреть вверх, как будто, рассчитывая, что Супрем выглянет оттуда и пригласит подняться. Дождь бил прямо в открытые глаза, я не мог ничего различить на высоте трех метров. Хотелось крикнуть, но я не стал. Это означало бы позвать на помощь. Но мне не нужна помощь. Я побежал дальше. Понимание того, что полпути пройдено, придало новых сил. Я перестал чувствовать порывы ветра, жалиющую воду, перестал обращать внимание на синие ладони. Внезапно мне показалось, что все, чего бы мне хотелось по возвращении, так это чтобы там, во времянке, меня ждала Кристина. Как

будто очередной порыв ветра вдул эту простую мысль в мою голову. Я даже остановился. Затем холод начал сковывать и без того немеющие мышцы, тогда я заорал что было сил и снова набрал скорость. Но силы почти покинули меня. Больше бежать я не мог и перешел на шаг. Перед глазами поплыли серые круги, затем они задрожали и начали расплываться. Быстро перебирая полусогнутыми ногами по песку, я скрючился и обхватил себя руками как лианами за плечи, чтобы хоть как-то согреться. Иногда я рычал, выплевывая дождь из не закрывающегося рта, которым часто-часто дышал. Тело сдалось. Теперь оно чувствовало и удары дождя, и ветер, и холод. Больше сопротивляться оно просто не могло. Все, что я хотел, это вернуться. Мне было уже все равно, как. Я так замерз, что всерьез подумал воспользоваться аварийным каналом. Порттик уже давно подавал сигналы, что моему телу каюк. Я двигался дальше с мыслью покончить со всем этим. Сейчас я нажму на кнопку и все. Это был самый ничтожный километр сомнений, о котором мне стыдно вспоминать. Я почти сдался. Сладкая мысль пыталась согреть со всех сторон, она дышала в спину и забегала вперед, маяча перед лицом, шептала то в одно ухо, то в другое, вертелась, визжала и рыдала одновременно. Я рыдал вместе с ней, и все, что меня останавливало, так это обхватившие туловище руки, абсолютно занемевшие в таком положении. Тогда я стал посмеиваться. Тело, которое больше всего требует спасения,

само же не может себя спасти. Это был очень тихий смех. Этакое редкое, едва слышное «Хэ!» Хэкая и отплеываясь, безумно дрожа, я проковылял еще сколько-то. Затем редкое хэканье сменилось постоянным «э-э-э...», потому что в онемевшем рту дробью стучали зубы. Дождь то снова слабел, то усиливался, но не прекращался ни на минуту. Внезапно я понял, что ветер дует в спину. Это был хороший знак. Может быть я не падал только благодаря ему. Потом издали увидел маяк. Я почувствовал нечто особенное. Сильнейшее чувство. Я понял, насколько благодарен тем, кто его построил, и что может значить маяк для полуживого странника. И, хотя, ноги уже почти не слушались, я все-таки добрал до него, упал на колени, прильнул лицом к мокрой стенке и обнял руками так, словно мог его обхватить, как только что себя. Вода лилась на голову, а я стоял в этой нелепой позе и плакал вместе с небом. Потом я вошел в шлюз и рухнул на пол, больно ударившись плечом. Лежа, я смотрел на тело и не мог поверить, что оно все еще мое – до сих пор я считал, таким синим может быть только труп. Синие ноги сбиты в кровь, которая не идет. Я ждал, когда почувствую тепло, дрожа настолько крупной дрожью, что постепенно перемещался по полу как стакан по вибрирующему столу. Потом я обратил внимание, что лежу в собственной луже и удивился, что с голого человека может столько натечь. Пока шлюз прогревался, я успел подумать, не стоит ли начать бегать в одежде и смогу ли я

побежать завтра, особенно, если погода не улучшится. Вдруг я ощутил тепло. Точнее, сначала мне, просто, перестало быть холодно. Счастье, сравнимое с видением маяка. Я закрыл глаза и снял с руки портик. Если бы я сделал это, будучи при смерти, возможно, за мною прилетел бы спасатель. Но по сравнению с тем, что было, сейчас портик должен передавать вполне оптимистичные данные. Я провел под ливнем пять с лишним часов. Когда мое истерзанное тело произвело первую каплю пота, я медленно приподнялся, не вставая, прислонился к стенке и вздохнул. Мне будет приятно вспоминать эти часы. Воспоминания о них не скоро потеряют вкус, и пока будет так, я не смогу обесценить их мыслями о смерти. И, правда, раздумья о смерти покинули меня в тот же день. Теперь у меня был готовый рецепт того, как убежать от уныния. Все произошедшее определенно не было наслаждением, но в нем было спасение! Вот, когда понадобился бы совет папы Падло. Но он молчал. Тогда я понял, что спасение подразумевает избавление от боли или от ее ожидания. Но это избавление не может явиться просто так. Мысли запутались, одно я знал точно – мне надо бежать. И это «точно» очень хотело, чтобы я называл его верой, то есть тем, что позволяет в сложное время преодолеть боль. Я вновь представил воображаемую собаку. Как она преодолевает боль? Может ли она захотеть умереть? Какие мысли придут в ее воображаемую голову после нескольких месяцев одиночества? Вот, она носится по острову, писает

под деревьями и просто на песок, яростно раскапывает кротовьи норы. Потом я представил хозяина, по которому собака могла бы тосковать, и тогда мне показалось, что преодолеть боль она не в силах. Потеряв лучшее, что было в жизни, она так и проведет ее остаток в тоске, чувствуя, что жизнь уже совсем не та, что была раньше, но не в силах понять, почему. Но я не собака, ничто не потеряно, и все лучшее должно находиться впереди. К сожалению, видимо, для него еще не пришло время. Помывшись и перебравшись ползком во времянку, я понял, что начинает болеть голова. Так – как она это умеет. Сначала я даже невольно обрадовался: головная боль – веская причина, чтобы сделать перерыв в забегах. За нее я могу простить себе что угодно. Но радость быстро сменилась безразличием, потому что на фоне этой боли любые другие чувства теряют смысл. Все становится бессмысленным. Я подумал об аварийном канале. Мне, ведь, никто не мог запретить им пользоваться. Но что-то все-таки держало меня. Аварийный канал казался признаком слабости, подтверждением какого-то не озвученного проигрыша. К тому же, что толку с этих таблеток, если они дают лишь временное облегчение. Я должен победить боль сам. И я стал бороться. Затемнив окно и завернувшись с головой в тряпки, я затаился на мате и закатил глаза. Не знаю, сколько прошло времени. Иногда я спал, иногда снова искал позу, в которой меньше «стреляет». Есть разные способы. Например, если широко

открыть рот – некоторое время голова не болит. Она как будто привыкает к новому положению мышц на черепе. Я ждал известного момента, когда становишься согласным выстрелить себе в голову сам. Обычно это верхняя точка, после которой есть надежда на медленное избавление. Перекатываясь по мату, я оказался в очередном углу, и уткнулся лбом в прохладную стену. Неподвижные глаза уперлись в валяющуюся рядом шапку Супрема, которую он как-то вручил мне, снабдив немногословным комментарием. От безысходности я машинально натянул ее на голову. Эта шапка была на редкость приятной. Я стал гладить ее руками. Что это, овечья шерсть? Или собачья? Хотелось снять и посмотреть внимательно, но не позволил страх спугнуть болевое затишье. Успею еще. Я замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Боль действительно уходила. Незаметно, как минутная стрелка. Сколько же прошло времени? Сутки? Стараясь двигаться плавно, я тихо подполз к окну и снял затемнение. Там была ночь. Я аккуратно встал на ноги, покрепче закутался в тряпки и уже более уверенно вышел за дверь. Дул слабый теплый ветерок. Шум в ушах слился с шумом леса. Облака почти полностью закрыли звезды. Слезящимися глазами я никак не мог рассмотреть, что же там на небе. Потом появились признаки рассвета. Это только кажется, что рассвет быстрый, а закат долгий. Если попробовать встретить рассвет с самого первого проблеска, ожидание краешка солнца покажется

самым долгим из всех пережитых. Я сидел, прислонившись спиной к стенке, и представлял, что это руки Кристины согревают мою голову. Все вокруг показалось неважным, кроме желания видеть ее здесь. Если бы сейчас, вдруг, она вышла откуда-то из темноты, подошла ко мне и присела рядом... Я закрыл глаза и обхватил руками колени. Все последнее время показалось абсолютно бессмысленным. Что было не напрасно? Я попытался вспомнить, что вообще со мной происходило и не смог. События, как будто, стерлись из памяти. Раньше такого не было – боль уходила, а память оставалась. «Плохи дела», – подумал я, ощутив неприятную дрожь. Кристина была моим единственным ясным воспоминанием. Споткнувшись о события, мысли метнулись к людям и тоже не смогли обрести ясность. Я не мог вспомнить даже имен. Были какие-то знакомые образы, но какое место они занимали в череде забытых встреч, и что означало их участие в них – как будто облака на небе заслонили собою не только звезды, но и логику самого существования людей, следующих сквозь мою жизнь. Потом мне показалось, что все это уже было. В точности также я сидел около времянки, замотанный тряпками и, может быть, даже в этой шапке, ночью, совершенно один в кромешной тьме, сжавшись в комок и понимая, что, несмотря на легко подтверждаемые портиком координаты в пространстве, нахожусь скорее в пустоте, где все координаты смотаны

во взорванный изнутри единый клубок. Дежа вю преследует меня с завидной периодичностью. Сначала я как все думал, что это сон повторяется наяву. Потом что-то узнал про височные доли. Конфликт в попытке осознания себя здесь и сейчас нес приятные переживания. Мне нравилось думать, что в моей голове есть место для сюрпризов. Теперь, когда я даже не мог вспомнить ни одного лица, кроме Кристины, чувство показалось более весомым, я как будто поймал его за хвост и сумел не выпустить в решающий момент. Оно захватывало все сильнее и сильнее, пока внезапно не опрокинуло меня в бездну прошлого, словно рассеивая сознание по его закоулкам. Волна страха не выбраться оттуда накрыла меня. Я встрепенулся, чуть не свалившись в обморок! Оказывается, дежа вю может иметь разную глубину. Но любопытство перевесило страх. И снова мне удалось зацепиться за крючки прошлого, но лучше бы поддаться в первый раз! Теперь же точки потери сознания было не достичь. Я с сожалением вздохнул. И тут же новое непонятное ощущение овладело мною. Однажды я впервые увидел картинку, в которой всплывал объем. Стоило только посмотреть сквозь нее. Помню, как нехотя принимало сознание этот заготовленный обман зрения. Сначала оно вообще не хотело верить в то, что внутри плоской картинки есть нечто еще. Потом, как будто слегка зацепилось за край объема и засомневалось. И, вот, уже стремительно потащило его в себя, жадно всматриваясь

в новые контуры. Я даже ощутил тогда легкую тошноту. На этот раз ворвавшийся объем был столь велик, что меня тут же вырвало. Вестибулярный аппарат пережил шок. Я перевалился на четвереньки и отполз в сторону. Объем не отступал. Пара новых спазмов вытряхнула меня изнутри. Мозг пытался что-то высмотреть и подстроиться под увиденное, но любая попытка вновь выворачивала организм наизнанку. И вдруг я увидел ясность! Не путаный клубок, не темень, не картинку воспоминаний, а самую настоящую ясность. Парадоксально, но в ней тоже не было ни одного внятного очертания. Однако она проступила столь явственно, что не оставила в своей сути ни малейшего сомнения. Я замер, глядя прямо перед собой. Видение сдвинулось с места и поплыло в сторону, словно помутнение в глазном стекловидном теле. В этом количестве измерений ничего нельзя было разобрать, они с трудом укладывались в голове, мешая друг другу и наслаиваясь не сочетаемыми красками. Но вместе с тем, во всей мешанине просматривалась идеальная четкость построения. Затем, также неожиданно как появилось, все исчезло, погрузив меня в еще большую черноту. Мозг как будто выключили и снова включили. Или наоборот. Ноги онемели до бесчувствия, а я так и не мог пошевелиться, встретив рассвет в состоянии необъяснимого вдохновения. Несмотря на непонимание происшедшего, я многое запомнил. Оно врезалось в голову на всех уровнях: простое соседствовало

со сложным, сложное с тем, что попроще – словом, напоминало причудливый спектр сложности, перенесенный в явь из какой-то неожиданной математической модели. Каждое явление в нем существовало само по себе, как если бы пространство вокруг наполнилось разными голосами, но не было ни одного уха, способного что-либо в этом хоре расслышать. Я почувствовал, как по лицу течет пот, и опомнился. Не думал, что однажды наступит время, когда приду в себя, стоя на четвереньках в собственной рвоте. Может, отравился? Преодолев покалывание в ногах, я встал и, шатаясь, дойдя до воды, помыл руки и лицо. Потом аккуратно подsunул под шапку большие пальцы и медленно стянул ее. Шапка как шапка, с виду как будто связана из тонкой шерсти только очень толстой вязкой. Я пригляделся, вертя ее в руках, вывернул наизнанку, прощупал, что внутри. В общем, это была какая-то странная шапка. На ощупь совсем не такая, какой могла показаться. В ней чувствовалось внутреннее напряжение, словно под шерстью скрывался необычайно тонкий как паутина, но крепкий и упругий каркас. Вместе с тем, была легка, как тополиный пух. Одета на голову, она в точности повторяла ее форму, тщательно окаймляя лицо: сверху – по линии бровей, затем вокруг глаз, немного заходя на скулы, затем плавно вниз, закрывая уши и доходя до основания нижней челюсти, где венчающий затылок толстый, как будто связанный «вдвойне» обод кольцом обхватывал шею сзади.

Я вспомнил некоторое неудобство, связанное с легким напознанием шерсти на глаза с боков, отмеченное мною, как «не тот размер», и подумал, что, может быть, дело и не в размере, а в том, что височные доли должны полностью покрываться? В сочетании с недавно пережитым глубоким дежа вю эта мысль дала повод насторожиться. Трепещущее любопытство овладело мной. Нет ничего лучше этого ощущения. Конечно же, мне совсем не хотелось одеть ее снова, но я был готов повторить это. Не сегодня. Позже. И, возможно, меня больше не будет тошнить. Вместе с этим я понял, что совсем забыл о терзающей меня головной боли. Вообще-то, меня и раньше тошнило на пике приступа. Но боль никогда не исчезала так быстро, будто вытряхнутая из организма вместе с остатками еды. Вздвогнув всем телом от внезапно пробравшего меня холода, я решительно ушел с берега, прошел через шлюз, рухнул на мат и аккуратно положил шапку неподалеку. Руки дрожали мелкой дрожью. Что за странное возбуждение? Так бывает, когда готовишься вот-вот узнать что-то, способное, как кажется, перевернуть жизнь. С таким чувством я ждал оценки Шланга на экзамене, когда уже стало ясно, что не отпущу удачу. Этакое тревожное, слегка перегруженное состояние знания о чем-то пока недоступном. Синдром «перегруженной» собаки... «Тревожная мышь» – вдруг вспомнил я. Руки сами потянулись к кофру с басом. Там в кармашке лежали прихваченные мною в романтическом настроении

лекции Шланга, точнее их небольшая часть, потому что только одна тетрадка помещалась туда. Я раскрыл ее на первой попавшейся странице, перелистал в поисках хоть какого-нибудь крупного заголовка и, с трудом разбирая корявый почерк, шевеля губами, прочитал: «Погонный интерфейс». Секунду мозг словно сопротивлялся, не желая возвращаться в этот формульный ад, потом нехотя нырнул в то время, подгоняемый запахом вздутой от чернил бумаги. Я улыбнулся, взял за обложку и тряхнул. На колени выпал лист со списком экзаменационных вопросов. Отложив тетрадку, я бережно развернул его. Обведенные в кружочки порядковые номера напомнили, как тяжело давалось мне продвижение по этому списку вниз. Один. Мысль и способы ее передачи. Методы полной передачи мысли с помощью нейронных передатчиков. Погрешность передачи. Согласованный прием. На первой лекции было много народу. Но с каждым интегралом, любопытство, жаждающее легкого удовлетворения, встречало все более непреодолимые барьеры, пока полностью не погасло и понуро не покинуло аудиторию надежд вместе с хозяином. Два. Методы хранения мыслей. Культурное наследие прошлого. Шланг начал с того, что собой являет мировой опыт, каким образом он накапливается, и что мы подразумеваем под ним и под понятием «усредненной неизбежности», каким образом решить умозрительную задачу о наделении мировым опытом

индивидуальности, в результате чего где-то что-то ускорится или деформируется... короче, тут я не очень запомнил... а закончил, как водится, водопадом греческих букв и прочих символов своего превосходства над нами, от чего мы все забывали о сексе и, страдальчески вздыхая, шли пить кофе. Три. Нейрокоммутиация. Здесь он перешел к делу, и мы поняли – все, что было до этого, просто, разминка. Эмоциональные заслоны нейрокоммутиации. Опять запахло неизбежностью. Эффект расстроенного нейроприемника. Ну, тут он вообще не произнес ни одного нормального слова. Потери при передаче. Ладно, хоть, коротко. Четыре. Материальность протектированной мысли как явления, неразрывно связанного с чувствами. Тут, признаться, я даже что-то понял. Из вводной части. Сама постановка вопроса настроила меня на «согласованный прием». Неспособность к мышлению изолированной нейросистемы. Это была новость! Оказывается, не может мыслить то, что не имеет эмоций. Если я правильно понял. Изолированная синтетическая нейросистема (ИСНС) как устройство хранения информации с ассоциативным доступом. Да, это было интересно, но как всегда до определенного момента. «Синтетика»! На эту тему было много шуток. Была у нас одна девчонка, мы ее тоже звали Синтетикой: она никак не могла кончить. И соображала так себе. Хранила информацию. Пять. Интерфейс передачи мыслей от нейросистемы к человеку. Погрешность

передачи чувств, при использовании интерфейсов разной чувствительности. Как тебе мой интерфейс, спрашиваю? Или: хочешь, попробуем голландские морковки? Разные – для разной чувствительности? Больше интерфейсов – меньше погрешность. Шесть. Проблематика прямой передачи мысли от человека к человеку. Погонный интерфейс. Вот, кстати, и он. Высокий уровень засоренности прямой передачи. Проблемы распознавания и ожидаемого восприятия сигналов. Везде одни проблемы! Семь. Передача мыслей от животного к человеку и обратно. Кажется, это тоже было интересно. Эксперимент Борка. Пример ограниченности восприятия при обратной передаче. Синдром перегруженной собаки. Тревожная мышь. Ожидаемый смех студентов. Эта лекция собрала рекордное число слушателей после первой. Даже этот пришел... как же его фамилия... Аналогия с «тревожным человеком», как иллюстрация приема «высшей» мысли. Здесь Шланг попросил особого внимания, пояснив, что никаких «высших мыслей» нет. Речь идет всего лишь о математическом допущении, аналогичном ситуации, когда в роли «тревожной мыши» или «перегруженной собаки», не помню, в чем разница, выступает человек. То есть, как будто он получает информацию от более развитого существа, ну, и загружается ею. Таким же допущением был и «абсолютно информированный наблюдатель», всплывающий то тут, то там. Может,

как раз он и «загружал» индивидуума. Восемь. Нейрокоммутация во Вселенной. Синдром перегруженного человека. Тревожный индивидуум. Ага, вот и он проявился! Гениальность – как результат незасоренной нейрокоммутации с «высшей» мыслью. Прочитаешь, так полное шаманство. Шланг, надо сказать, прочел эту главу без особого вдохновения. Но сказал, что не нужно искать во всем мистику. Раз, математика позволяет моделировать, значит, нужно придать этому достойный смысл. Вот и все. Девять. Психологические аспекты передачи мыслей. Разочарование, как следствие значительного расхождения между полной мыслью и ее физической трактовкой. Да уж, многие из нас испытали разочарование, оказавшись на этом факультете. Да и скажите, у кого в мозгу были тогда «полные» мысли? Кроме мысли с кем-то спариться, не припомню таких. Ее «физическая трактовка» воплощалась довольно регулярно. И там точно не было места «разочарованию». Десять. Развитие и естественный закат человечества как вида в свете изложенной теории. Здесь нам немного взгрустнулось. Конечно, мы знали про естественный закат человечества, но в свете изложенной идеи... Она наоборот давала надежду. Но, видимо, и здесь обнаружило себя «значительное расхождение». Одиннадцать. Современные проблемы комбинаторной нейрофизики. Шланг заболел и пропустил пару лекций, а затем понял, что не успеет и начал шпарить!

Полный провал в памяти. Обычно таким названием венчается крупная тема. Но не тут-то было. Двенадцать. Влияние информации о прошлом на настоящее и будущее. Эффект полной информации о прошлом. Деформация настоящего при неизбежных потерях прошлого. Все это произошло на огромной скорости. Я понял одно – чем интереснее название, тем быстрее надо сваливать. Тринадцать. Эволюция событий. Эволюция порядка. Неизбежность и необратимость. Горизонты событийности. Туннелирование событий сквозь горизонт. Лавинный пробой горизонта. Понятие «абсолютно информированного наблюдателя» (АИН). Игра с точки зрения комбинаторной нейрофизики. Неизбежности в играх. Что тут скажешь? Вообще-то, благодаря этому вопросу, вопросу номер тринадцать, мы получили ответ на немой вопрос с нашей стороны: как можно успеть ответить на экзамене по этому ненормальному перечню? Оказывается, Шланг и не думал втыкать в билеты вопросы целиком. А нумерация в списке имела целью «смысловое разграничение». Мне, например, попался лавинный пробой горизонта. Формулы я, конечно же, забыл на следующий день, а по сути, припоминаю, как охотно рассказывал про появление свободного кислорода в атмосфере протерозоя. К слову, на квантовой физике нас ждал тот же подход. Вытягиваешь билет, а там: «надбарьерное отражение». Или «подбарьерное прохождение». И хочешь – не хочешь,

а издалека не начнешь. А предпода звали Огурец. И экзамен я сдал ему не иначе как, протуннелировав сквозь собственный ужас и его боязнь ковырнуть глубже. Недаром Шланг пояснил, что туннелирование может повлечь ситуацию, когда аутсайдер обыгрывает лидера при прочих равных условиях. Хотя, на экзамене лучше было упомянуть в качестве примера генетические мутации и заодно коснуться туннельных волн – волн похожих событий, когда многие люди внезапно, не сговариваясь, совершают нечто одинаковое, то, что до этого в общей массе случалось крайне редко. Неизбежности в играх. «Коснемся этой темы совсем кратко, – объявил Шланг, – проработайте сами. Это будет в экзаменационных вопросах. Простая тема». Что такое «простая тема» в понимании Шланга? Проработайте сами. Простая тема. Четырнадцать. Умышленное искажение реальности, формирующее измененный эмоциональный фон. Надежды и разочарования. Игромания и прочие психологические дефекты. Или эффекты? Шланг совсем не успевал, поэтому очень быстро мы перешли к следующему. Пятнадцать. Применение принципов комбинаторной нейрофизики в судебной практике. Юридические особенности. Процессуальные особенности. «Все это самостоятельно, все есть в билетах. Я на этих несерьезных вещах не имею возможности останавливаться!» – резюмировал он, покончив с комбинаторной нейрофизикой и перейдя

к новому разделу. В «юридические особенности» я так и не заглянул. Мои силы закончились в районе «измененного эмоционального фона». Когда Шланг недолго болел, его подменял некий профессор Хасс. Он выглядел гораздо человечнее Шланга. Мы обрушили на него кучу вопросов из тех, что боялись задать прежде. В частности, по поводу неизбежности. Всех интересовал вопрос судьбы и всякие прочие. То есть, это был шанс реализовать нашу потребность понять, о чем весь разговор и как перевести его с «греческого». Я думаю, если бы они читали лекцию вместе, то закончили, скорее всего, горячей дискуссией, забыв о нас на долгие часы. Или потасовкой. «Неизбежность, – сказал он, – ну это очень просто. Вот, есть известная история с писателем, у которого растет живот. Он с ним борется, живот уменьшается. Это его беспокоит, поэтому находит отражение в его же творчестве. Так как это беспокоит не только его, творчество становится популярно среди тех, у кого тоже растет живот. Или уже вырос. В итоге, у писателя образуется аудитория, большинство из которой имеет животы, и он, волей-неволей, начинает в своем творчестве немного под них подстраиваться. А чем это заканчивается? У него снова растет живот. Вот, это и есть неизбежность. То есть, как ни крути, а живот все равно вырастет. Ну, это, конечно, шутка...» Потом он пояснил, что вводить абсолютные величины очень удобно. Так проще скрыть скудоумие. «Мы можем,

например, ввести понятие Абсолютно Информированного Наблюдателя. АИНа. Существует ли для него случайность? Если – да, то такая случайность тоже абсолютна. Не нужно пугаться этих бессмысленных абсолютов. На протяжении всей своей истории человечество только и занимается тем, что вводит абсолюты и меряется относительно них. Вы знаете, кто сдвинул этот шабаш с мертвой точки. Однако в силу нашего несовершенства, нам до сих пор удобны эти языческие методы. Итак... притянем сюда еще шкалу абсолютного времени. Будем действовать следующим образом. Меру случайности события оценим с точки зрения минимального времени, за которое это событие еще можно предотвратить. То есть, за этой точкой событие становится неизбежным. С помощью такого подхода, мы практически исключим макрослучайность из разряда случайности, останутся события, для которых такое время не имеет смысла. Получается, о них не знает даже АИН. Это и есть фундаментальная случайность». Я это записал, а не запомнил. Мы попросили задиктовать, а он, как будто, не хотел, чтобы мы записывали, поэтому повторил также быстро еще раза три и продолжил. Но я очень быстро пишу. Потом он сказал: «Говоря красивым языком: рождение – случайность, смерть – неизбежность. Система перерастает из случайности в неизбежность путем накопления собственных правил. Мозг переводит случайность в неизбежность, чтобы замедлить собственное

время. Естественное свойство приспособления. Поэтому все мы живем немного в прошлом, а настоящее к этому времени уже сформировано на более высоком уровне материи. Чем ближе мы в своем развитии к этому уровню, тем ближе мы к настоящему. Хотя для нас это настоящее общепризнанно считается будущим». Потом он подробно взял «трупный интеграл». В таких подробностях Шланг никогда интегралы не брал. Мы почувствовали себя в мире с другим горизонтом. Потом разнес в пух и прах «эффект бабочки», как историческую идиому, назвав это «жалкой пародией на туннелирование», и закончил тем, что легче всего туннелирует «зло», как классика неизбежности, при определенных условиях переходящая в лавину, апофеозом которой явился, между прочим, двадцатый век! Тут уж я не на шутку возбудился и начал, было, судорожно соображать, как лучше поддержать эту тему с позиции моих исторических знаний. Но прозвенел звонок, и профессор, недолго думая, мигом протуннелировал сквозь дверь. Вообще-то, туннелирование незримо присутствует и в моей работе, потому что, если есть его признаки, эксперт обязан связаться с экспертом более высокого уровня. То есть, я должен сообщить Олле. Если Олле обнаружит, что эффект проходит его горизонт насквозь, то ему необходимо связаться с регулятором. Если регулятор увидит, что дело приобретает мировой масштаб, надо обращаться к мировому регулятору. Последний, правда,

фигура, скорее, формальная, чем обладающая реальной мудростью. У всего этого одна банальная задача – избежать конца света. У каждого в пределах своего горизонта. Мировой горизонт обычно принимается равным нескольким будущим поколениям. Низшие эксперты могут быть наказаны и заблокированы сверху, если есть явные ошибки и пропуски очевидных фактов. Другими словами, эксперт должен следить в рамках своего горизонта, чтобы события не выплескивались за его пределы. А если еще проще, то портить воздух не следует в толпе недругов и поклонников. В противном случае обеспечен туннель или лавина соответственно. «Пишите тему, – бодро произнес Хасс на следующей лекции: – Неизбежность Вселенной. Вложенные необратимости. Относительность необратимостей разных горизонтов. Неизбежность и необратимость с точки зрения эволюции. Эволюция как необратимый процесс достижения неизбежности». – По тому, как он начал, сложилось ощущение, что эта тема не предусмотрена Шлангом. Словно Хасс решил побаловать нас самовольно. Надо сказать, скорость, с которой он излагал, пытаясь уложиться в два отведенных часа, оставила за бортом добрую половину слушателей. И только его огромное вдохновение еще удерживало внимание тех, кто вынужденно перестал записывать. Мы поняли, что тема ему бесконечно близка. Когда после очередного формульного шока по аудитории

пронесся разочарованный гул явного неодобрения, он приостановился, обернулся к нам и сказал: «Нет, нет, тут вы совершенно напрасно... это сейчас очень модное направление... поверьте...» Тут он извиняюще усмехнулся и снова нырнул в свой упоительный мир, вернувшись из него окончательно строго по звонку. Когда вернулся Шланг, первым делом он попросил у ближних рядов тетрадку, резко пролистал ее до конца и тут же вернул обратно. Кажется, он был недоволен. Потом мы узнали, что между ним и Хассом существуют некие фундаментальные разногласия. Честно говоря, мы не ждали Шланга так быстро и готовили все новые и новые вопросы. Однако профессор Хасс больше не появился. Жаль, что их так и не удалось задать. А еще лучше было бы показать ему шапку. Я отложил лекции и снова взял ее в руки. Может быть, это и не нейрокоммутатор, но, что совершенно точно, она определенно снимает головную боль. Положив шапку на грудь, я заснул крепким сном и проспал до вечера. Когда стемнело, я вышел на берег, устроился поудобнее на песке и, покопавшись в портике, стал смотреть старые проекции. Но тут же поднялся и начал ходить между фигур, заглядывая в глаза отца, мамы, в свои глаза. Вот, мы с Кристиной сидим задом-наперед на скамейке, просунув ноги под спинку и сложив на нее руки. Спроецированное море на заднем плане практически сливается с реальным. Лиза еще не родилась. Вот, Лиза с Кристиной смеются, глядя

куда-то в сторону. Вот, я окликнул маму и она обернулась. Мама всегда старательно позирует, а здесь не успела. Это ее единственная нормальная фотка. Вот, я – маленький. Я не хочу снова стать ребенком. Это было, и мне там было хорошо. Я бы сказал, мне там было хорошо, как никому. Вот, юность, я бы слегка подправил. Хотя, как? Мне там было не очень уютно. Но иногда весело. Я стал раздумывать, как можно было бы деформировать юность, но испугался, что тогда не встретился бы с Кристиной, и моя жизнь была бы абсолютно другой, потому что в ней ровно также отсутствовало бы все «гусиное семейство» с Супремом, Олле и прочими близкими мне людьми. Я б так и остался экспертом низкого уровня, следил бы за лояльностью бабушек. Или, наоборот, встретил бы какую-нибудь Анабеллу, забросил бы мысли о свободе, отрастил бы «неизбежный живот» главы семейства, сидел бы себе на месте, потреблял что попало. Превратился бы в бывнють. Или нет? Или неизбежность в том и состоит, что я чувствовал бы то же самое, что и сейчас, кого бы не встретил и в какие условия не попал? В чем же тогда необратимость моего положения? Чем уникальна моя ситуация? Тем, как я проявлю себя в ней? Тем, как я верю и как преодолеваю нечто, нуждающееся в преодолении? Мне было необычайно приятно думать об этом. Я заснул опять под утро, но мало спал, а проснулся вдохновленный на очередной круг по острову. К счастью

дождь прекратился. Иногда сквозь низкие облака даже выступало солнце. Конечно же, я не мог бежать. На этот раз я шел. И шел точно не от боли, а скорее, навстречу наслаждению, полностью растворившись в размышлениях о связи веры и преодоления. Преодоление показалось мне даже приятным, однако к нему нужен ключ. И этот ключ – вера. Вера – ключ к преодолению! У каждого свой ключ. Но если нечего преодолевать, значит и вера спит? А когда она спит, чем я отличаюсь от собаки? Так ненавязчиво я излечил себя от хандры, чуть было не отправившей меня в тропосферный крематорий, миновав нижнюю экстремальную точку пребывания на острове. Сейчас, когда она пройдена, сидеть на дереве куда спокойнее. Главное, что чувствуется – отсутствие тревоги. Время не играет роли. Я просто сижу и смотрю на воду, и это может длиться бесконечно. Особенно теперь. Когда на мне комбинезон. От долгого разглядывания горизонта, мне начало чудиться, что где-то там присутствует некая черная точка. Как будто крошечная лодка или оторвавшийся буй дрейфует далеко-далеко от берега. Сначала это походило на мираж. Пытаясь поймать видение прямым взглядом, я неизбежно терял его из виду, когда же пытался смотреть чуть в сторону, практически сразу боковым зрением снова цеплялся за его очертания. Потом, мне показалось, что точка приближается. Во всяком случае, она все меньше ускользала от внимания, и я, наконец, окончательно поверил в ее присутствие.

Вместе с тем, она становилась все более живой. Ни лодка, ни буй, ни что-либо другое, механическое, не могло двигаться по поверхности воды подобным образом. Через некоторое время, не осталось ни единого сомнения – это был человек. Он шел по поверхности воды в мою сторону. Если бы не рябь, не игра отраженных солнечных лучей, – понял бы и раньше. Затем я узнал в человеке Супрема. На нем тоже был комбик, правда, не меняющий цвет и не сливающийся с водой, а строго коричневый. Темные комбики обычно используют для лучшего теплообмена, где стоит нечеловеческая жара. Мне захотелось встать и пойти навстречу. Я попытался представить, насколько хорошо заметен на горизонте. А дерево? Оно определенно войдет в картинку, ведь я на нем сижу. «Пижон», – подумал я. Только пижон может всюду таскать над своей головой пазл с проектором. А если свалится? Когда я учился, их зоны видимости ограничивались некими телесными углами. Другими словами, если бы прогресс не состоялся, мы бы так и глядели друг на друга как из вороньих гнезд. Теперь же точки наблюдения и проецирования вообще никак не связаны. Достаточно двумя словами связать на портике наблюдателей, и все – любой каприз прямо перед глазами. Для меня загадка, как это работает. Как он может заглянуть в лицо, если висит за спиной? Я уже отстал от жизни. Кто-то назвал их взаимосвязь «запутанной» и это прижилось, но мне кажется оно тут совсем не причем.

Слишком торжественно для макромира. С тем же успехом можно назвать движение паззла телепортацией. Это все недоучки наводят туману. Но как-то это работает! Супрем мог бы расширить свои видения и включить в них не только меня с деревом, а все остальное. Возможно, он так и делает – на своем горизонте видит мой маяк, затем, по мере приближения, более мелкие детали острова, меня, сидящего на дереве и машущего рукой, воду под ногами. Если захочет, он может показать мне и свой ареал. Взаимопроекция бывает очень хороша, когда вокруг открытые пространства. Тогда в нее проще поверить. Мне нравится это представление – нет ничего, что могло бы испортить радость от участия в нем – картинка почти идеально вписана в реальность, не смешиваются цвета, нет ошибок с определением уровня: зависания над землей или «ходьбы на коленках». Супрем, безусловно, любит производить впечатление. Иначе, зачем ему свидетель – мог бы обойтись. Но он хочет, чтобы я это видел.

– Куда ты пропал? – спросил я. Непривычно разговаривать, когда до собеседника с полкилометра.

– Сменил обстановку, – ответил он. – Не спрашивай, где. Просто, иду. – Я усмехнулся, потому что совсем недавно также «просто» бежал. Голос Супрема подрагивал, как голос быстроидушего человека. Наверно, ему ветер в лицо дует. Если человек интенсивно шагает и говорит, то, кажется, он волнуется. Я никогда не видел Супрема волнующимся.

– Давно?

– Да. Но пока не собираюсь останавливаться. Решил проведать тебя. Все нормально?

– Да, – согласился я немного безразлично, но твердо. – Я даже собирался выпить с тобой.

– Надо было раньше! – он всплеснул руками так, чтобы мне было видно.

– Ты дописал «поезд»?

– Нет, поэтому и ушел. Нужен перерыв.

– А я думал, ты сбежал от холода.

– Честно говоря, мне совсем надоело там сидеть. Олле, наконец, разрешил тебя оставить.

– В каком смысле?

– Ну, вроде как, ты теперь сам себе хозяин.

– С чего он взял?

– Кто его разберет. Я иногда вообще не понимаю, что он хочет. Поэтому два раза не переспрашиваю.

– Понятно, – сказал я, хотя, это было большим преувеличением. Супрем молча продолжал идти в мою сторону. Когда, наконец, «дошел до берега», стало заметно, насколько устал. Не переступая с воды на песок, он остановился и вздохнул. Пот струился по его изможденному лицу. Наверно, пересекает пустыню. Вблизи проекция уже не казалась такой идеальной. Фигуру Супрема окружали слегка размытые дрожащие области. Иногда они излучали едва уловимое

свечение. Не так-то просто вписать живого человека в чужое пространство. Я подумал, что когда-нибудь технология избавит взаимопроецирование и от этого мистического шлейфа. Потом поднял камешек и кинул. Он ожидаемо пролетел Супрема насквозь. Мне захотелось попасть ему в рот. – Сколько тебе еще идти? – спросил я.

– Не знаю, – ответил он. – Если знать, то все это вообще не имеет смысла.

– Ну, да, – согласился я. – Послушай, Супрем... – мне хотелось начать издалека, но вопрос вырвался сам собой: – если вера это способность к преодолению, то может ли она быть одной для всех? Ведь, каждый преодолевает что-то свое? – Я быстро замолчал, поняв, что выгляжу как идиот, а не эксперт. Его лицо почти не дрогнуло, только глаза заискрились. Несмотря на усталость, они традиционно смеялись. Затем он поморщился, как будто я навалил на него еще одну проблему.

– Ты идиот, – коротко сказал он, словно читая мою мысль. – В хорошем смысле.

– Это как? – спросил я, готовя следующий камень.

– Это когда вместо того, чтобы проявлять себя через взаимосвязи, ты пытаешься проявить себя, как абсолют. – Похоже, проблема перешла на мои плечи. Я задал свой главный вопрос, а он, похоже, дал свой главный ответ. Возможно, мы говорим о разном. Связанные проекторы пока не гарантируют связанных мыслей. Скорее, запутанные.

– Поясни, пожалуйста, – попросил я, чувствуя, что лучше разобраться в его ответе, чем в своем вопросе.

– В реальной жизни, если ты совсем один, тебя все равно что нет. Ты – иллюзия, если не смог проявить себя через тех, кто тебе дорог, или если они не нуждаются в тебе. Вспомни, как в детстве ты мог раствориться в других. Разве важно было тогда, кем ты на самом деле являешься? Да и существует ли это «самое дело»? Я хотел бы думать, что для осознания себя надо пытаться осознать с чем связан, а не пытаться выкопать в себе яму, или сжечь себя изнутри в поисках собственного абсолюта. Это болезнь. Поэтому ты и сохнешь на глазах. Это называется «экспертная анорексия». Болезнь эксперта, вызванная взглядом, направленным внутрь. Эксперт не может быть другим, но каждый каким-то образом пытается это преодолеть. Наверно, ты на правильном пути. – Его лицо осветила едва заметная улыбка. Он, наконец, отдышался. – Если в тебе что-то заключено, но оно никак не проявляется через окружающих, то какой от этого толк? А если ты не чувствуешь связей, – добавил он, еще больше улыбаясь, – то ты ничем не лучше проекции. Пустьшшка! – Он подмигнул, глядя мне прямо в глаза и, с этими словами, ткнув в портик пальцем, банально исчез, словно демонстрируя сказанное.

– Поздравляю, – почему-то ответил я то ли ему, то ли себе, и, вспомнив его неизменную улыбку, добавил вслед: – а ты не мог бы исчезать постепенно? – Мне стало жаль, что

он исчез. Я давно ни с кем не разговаривал. И все же, то, что за мной следят, еще больше укрепило мою веру. Чувство одиночества рассеялось. Мне показалось, теперь я действительно готов сделать что-то важное. Если Олле так и задумывал, то он, конечно, большой хитрец. Я огляделся вокруг в поисках очередной гостевой проекции. Но больше никто не беспокоил. «Экспертная анорексия, – повторил я шепотом и взглянул на раскрытые ладони. Потом встал, попрыгал на месте, – нет, со здоровьем у меня все в порядке». Однажды от нечего делать я заявился к Супрему на тот конец острова. Тогда мне тоже казалось, что прекрасно себя чувствую. Зная, чем оно кончилось, вспоминать то время было неприятно. Супрем корпел над своим новым полотном. Оно было очень большим. На почти нетронутым фоне различалось нагромождение контуров людей.

– Как называется? – простодушно поинтересовался я. Супрем отвлекся и, не глядя в мою сторону, сказал: – «Движение адского поезда через райские сады».

– Ого, – только и смог сказать я. Затем вгляделся в контуры внимательнее. Люди по мере их прорисовки определенно должны были переплестись между собой.

– Суть в том, – продолжал Супрем, отвечая на немой вопрос, – что не будь этого поезда, мы не смогли бы начать ни одного стоящего дела.

– Почему? – спросил я.

– Потому что в начале даже самого великого дела лежит

животный мотив.

– Я никогда не думал об этом, – сказал я.

– Иносказательно, для того, чтобы что-то начать, необходимо вскочить на подножку поезда, шествующего, конечно же, в ад. – Супрем посмотрел почему-то на небо. Наверно, там скрывался не ад, а окончание мысли. – Ну, а умение жить определяется тем, в каком месте тебе удастся с этого поезда спрыгнуть, – закончил он. – Иначе он увлечет вместе с собой, и ты так ничего и не поймешь. Обычно так и происходит.

– Ты в поезде? – спросил я, отметив про себя, что никак не могу привыкнуть к его серьезности. Оказывается, Супрем за работой – это совсем другой Супрем, скучный в своем одиночестве, как любой яркий человек.

– Конечно, – ответил он. – Я же только начал. Пока мною движет только желание создать шедевр, сознание собственной исключительности, самолюбование и стремление к новой славе... Я спрыгну с него, когда проект захватит настолько, что на все это будет наплевать. Тогда мною овладеет творческое вдохновение из райского сада.

– Интересный подход, – сказал я.

– Обычное дело, – он отвернулся, давая понять, что я мешаю.

– А если начать что-то делать из высших побуждений?

– Это, каких же?

– Не знаю... – начал я, пытаясь вспомнить хоть одно кли-

ше, – например, пожертвовать

собственным развитием ради развития кого-то другого.

– Боюсь, это, скорее, высшее заблуждение, – ответил он. – Я понимаю, что ты имеешь в виду. Самопожертвование из любви... В общем-то, это сложный вопрос. Но в том виде, в каком его вижу я, в основе любого самопожертвования лежит гордыня. Значит, это более чем достойно адского поезда. Для меня единственным «высшим побуждением», если о таком вообще можно говорить, является любопытство. Или жажда познания. Называй, как хочешь. Оно где-то в мозгу с самого рождения. А все остальное – исключительная неизбежность, и дорога ей – напрямиком в мой поезд. – Он помолчал и добавил: – Насчет высшей любви – не буду врать, не знаю. Но, что знаю точно – во всем «высшем» нет места для трагедии.

– Про любовь я не думал, – сказал я. – Ты отрицаешь любую самоотверженную деятельность?

– Не то, чтобы... – Супрем пожал плечами. – Хотя... есть еще слово «самозабвенно», и оно напрочь перечеркивает то, что «самоотверженно». Ведь, если делать то, во что веришь – забудешь себя. А значит, не придется себя отвергать. Думаю, «самоотверженность» придумали люди с недостатком веры. Они, просто, чего-то не знали. Таких бессмысленных слов полно. Из них можно составить целый словарь. Я думаю, «самоотверженность» есть даже не во всех языках.

– А твоя картина не оскорбит чувств верующих? – спро-

сил я, глядя ему в спину. Он вздрогнул.

– Не оскорбит чувств верующих? – повторил он. – Где ты нахватался этой чуши?

– Ну, как же, – продолжил я, обрадовавшись, что удалось хоть немного зацепить его, – ад, рай, религиозная тематика. Мне кажется, здесь пахнет собственной тракторкой. Вот я и спрашиваю, не боишься ли ты негативной реакции? «Искажение любви» прославил тебя, ты решил, что теперь можно все, а общество этого не прощает. Что ты будешь делать, когда твои полотна начнут сжигать в местах компактного проживания? – Супрем повернулся ко мне лицом и замер. Это был тот редкий момент, когда его «улыбающиеся» морщины разгладились сами собой. Наверно, он думал.

– Это полный бред, – наконец, произнес он. – «Оскорбить чувства верующих», – повторил он снова, пытаясь, видимо, понять, что это означает. Еще бы, он же не ходил на курсы! Только я и знаю, какие времена чем грозили. А еще раньше сожгли бы не полотно, а его самого. Он взялся рукой за подбородок. – Как можно оскорбить чувства верующего? – спросил он, продолжая размышлять. – Это какая-то ерунда. Это все равно, что оскорбить... дельфина... или попытаться затемнить кусок солнца... Несерьезно все это. Верующего нельзя оскорбить. Оскорбляется стадо. Стадо, подчиненное какой-то идее. – Он отложил кисть, чтоб было легче жестикулировать. – Идея не играет роли. Она может быть любой: «высокой», «низкой». Стадо изображает оскорбле-

ние, чтобы еще раз напомнить о приверженности этой идее. Оно может и не разбираться в ней. Но это все, что у него есть.

– Вот я и говорю, – продолжал я, – что ты будешь делать, когда стадо начнет топтать тебя и твои полотна?

– Это другой вопрос, – ответил он также вдумчиво. – Ну, во-первых, всегда есть кто-то, кто наоборот полностью принимает и признает тебя, кому ты близок и неподдельно интересен. – Он опустил голову, как будто решил пересчитать их. – Даже, если такой человек один, это хороший повод продолжать, – добавил он. – А во-вторых, когда на тебя набрасывается стадо – тоже успех. Я с удовольствием отдамся этим несчастным людям. Чем сильнее топчут при жизни, тем выше возносятся после.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.